

В форуме «Исследования города» приняли участие:

Владимир Васильевич Абашев (Пермский государственный университет)

Михаил Дмитриевич Алексеевский (Государственный республиканский центр русского фольклора, Москва)

Мария Вячеславовна Ахметова (Журнал «Живая старина», Москва)

Стивен Биттнер (Stephen Bittner) (Государственный университет Сономы, США)

Анатолий Сергеевич Бреславский (Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ)

Дмитрий Вячеславович Громов (Государственный республиканский центр русского фольклора / Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)

Хизер ДеХаан (Heather DeHaan) (Университет Бингемтона, США)

Меган Диксон (Megan Dixon) (Колледж Айдахо, США)

Катриона Келли (Catriona Kelly) (Оксфордский университет, Великобритания)

Наталья Петровна Космарская (Институт востоковедения РАН, Москва)

Бенджамин Коуп (Benjamin Core) (Европейский гуманитарный университет, Вильнюс, Литва / Национальная галерея «Захента», Варшава, Польша)

Михаил Лазаревич Лурье (Европейский университет в Санкт-Петербурге)

Кирилл Александрович Маслинский (Санкт-Петербургский государственный университет)

Михаил Гершенович Матлин (Ульяновский государственный педагогический университет)

Роберт Пайра (Robert Pyrah) (Оксфордский университет, Великобритания)

Дьордь Петери (György Péteri) (Норвежский университет науки и технологии, Трондхейм, Норвегия)

Наталья Петрофф (Natalya Petroff) (Городской университет Нью-Йорка, США)

Владимир Валерьевич Поддубиков (Кемеровский
государственный университет)

Ирина Алексеевна Разумова (Центр гуманитарных проблем
Баренц-региона Кольского научного центра РАН, Апатиты)

Моника Рютерс (Monica Rütters) (Гамбургский университет,
Германия)

Александр Николаевич Садовой (Кемеровский государственный
университет)

Михаил Викторович Строганов (Тверской государственный
университет)

Исследования города

ВОПРОСЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

В этом «Форуме» мы не стали задавать подробные вопросы, а вместо этого попросили участников

- 1** прокомментировать состояние изучения города с позиции их дисциплин;
- 2** указать, какие проблемы исследования города, на их взгляд, наиболее актуальны.

Полученные комментарии представлены ниже.

ВЛАДИМИР АБАШЕВ**Неосязаемое тело города.
Опыт работы со смыслом**

Любой исторический город — это аккумулятор памяти, личной, исторической, литературной, мифологической. Город-память, город-смысл. Я буду говорить именно об этом аспекте города и о культурных практиках, направленных на работу с памятью города, со смысловыми структурами памяти. На фоне обсуждения актуальных технологий работы с городским пространством (public art, флеш-мобы и т.п.) то, о чем пойдет речь, будет выглядеть, возможно, банальным, тем более что я начну с размышлений о городской экскурсии.

Думаю, у большинства слово «экскурсия» автоматически вызывает представление о чем-то школьном, поучительном и скучном. «Дети, перед нами типичный городской особняк первой трети XIX столетия, построенный в стиле классицизма архитектором И.И. Свиязевым», — что-то в этом роде. Рискнем все же поразмышлять об этой традиционной, почти музейной и тяготею-

Владимир Васильевич Абашев
Пермский государственный
университет
w_abashev@mail.ru

щей к ретроспекции культурной практике освоения городского пространства, и не столько в общем плане, сколько применительно к Перми.

К теме меня подтолкнул хоть и небольшой, но лично пережитый опыт экскурсовода. Так случилось, что в 2008 г. мне несколько раз пришлось показывать Пермь самым разнообразным по составу группам гостей из других городов России, а также из Великобритании, Швейцарии, Голландии и даже Бразилии. И тут я впервые столкнулся на практике с проблемой, знакомой мне до того только теоретически. Что показывать?

Отвечая на этот вопрос, я предлагаю совершить небольшой экскурс в историю и символику нашего города.

Где-то на берегу Камы на территории Мотовилихинских заводов под землей таится грандиозный артефакт, памятник эпохи индустриализма. Это усеченная чугунная пирамида с основанием 5×5 м и высотой 4 м. 630 т литого черного чугуна опираются на фундамент из каменных блоков. Мощным столбом фундамент уходит вниз на глубину 12 м, опускаясь далеко ниже уровня близкой реки. Подземная чугунная пирамида на каменном столбе — это шабот, или стул парового молота. Исполинский молот с ударом в 150 т был создан для проковки стальных болванок для пушечных стволов больших калибров. Когда-то он был самым мощным в мире. Его спроектировал и построил горный инженер Николай Воронцов, первый директор пермских пушечных заводов. В конце XIX — начале XX в. каждый приезжающий издалека в Пермь считал своим долгом съездить в Мотовилиху и посмотреть на знаменитый молот. Больше смотреть было нечего.

Вообще-то сооружение молота (а он был пущен в ход в 1875 г.) можно считать поворотным моментом в истории города. Поворотным и исторически, и символически. Тихий полусонный губернский центр, почти лишенный промышленности и в отличие от Екатеринбурга имевший только административное значение, под удары этого чудо-молота стал превращаться в индустриальный город и мало-помалу приобрел тот самый характер и облик, который имеет сейчас. В каком-то смысле уже тогда Пермь стала превращаться в Молотов, и ее формальное переименование в 1940 г. в символическом плане не выглядит случайным. Случаен, скорее, кстати подвернувшийся В.М. Молотов как повод для именованя.

Важно вот еще что. В рыхлой чиновничьей и мещанской среде пермского сообщества этот молот выковал пассионарную социальную группу — мотовилихинских рабочих. В 1905 г. они

строили баррикады, а в 1917 г. начали строить новый мир. В этот мир они, кстати, захватили свой молот. В 1920 г. на горе Вышка мотовилихинцы поставили памятник борцам революции. Памятник воспроизвел очертания знаменитого молота, т.е., по существу, стал его копией. В тело молота строители замуровали артиллерийский снаряд с прахом участника восстания 1905 г. Степана Звонарева. Вплоть до 1975 г. у подножия монумента хоронили уходящих один за другим из жизни участников мотовилихинского восстания. Мемориал с муляжом молота в центре стал сакральным местом советской Перми. Здесь принимали в пионеры и комсомол, проводили торжественные митинги по памятным датам. В 1969 г. очертания молота переместились на советский городской герб. Так мотовилихинский молот стал главным и емким символом советской Перми.

Между тем подлинный молот демонтировали еще в начале 1920-х гг., вместо него остался муляж — монумент на Вышке. Единственная подлинная часть — чугунный шабот на каменном столбе — осталась под землей (за неподъемностью). Можно представить, как эта невероятная инженерная конструкция медленно, по сантиметру в год, опускается в земные глубины. Картина завораживающая.

Пожалуй, подземная чугунная пирамида — одна из главных достопримечательностей Перми. Памятник индустриальной эпохи с ее тягой к механическому циклопизму и ее вершинами в виде башни Эйфеля и грандиозного моста «Золотые Ворота» (Golden Gate Bridge). Но особенность пермского памятника в том, что его никто никогда не видел. Артефакт существует, но показать его нельзя. Точно так же нельзя показать пермский период и даже пермский звериный стиль. Визуальная сторона многократно беднее его смысла.

Словом, ситуацию с пирамидой можно рассматривать как модельную для Перми: стертость плана выражения при богатстве плана содержания, смысла. Когда попадаешь в роль экскурсовода, сразу же сталкиваешься с вопросом, что показать, и оказывается, что показывать особенно нечего. В Перми, например, нет ни одного архитектурного сооружения или ансамбля, которые говорили бы сами за себя, визуальность которых была бы самодостаточной и самоочевидно выразительной — смотри и изумляйся. Все архитектурные стили вроде бы представлены, но в стертых, вторичных и почти обезличенных репликах. Есть классицизм, есть эклектика, есть модерн, есть конструктивизм, но все это в очень, как бы сказать, экономных и тривиальных вариантах. Самым визуально впечатляющим в городе оказывается скорее не городское, а природное. Вид на Каму

с Соборной площади. Или речные долины, дикие овраги Егосихи и Данилихи.

Но если в Перми нечего показывать, то о ней можно много, вкусно и, при умении, захватывающе интересно рассказывать. Можно было бы сказать, что это не исключительно пермская особенность. Можно сослаться на общую визуальную стертость многих других провинциальных городов. Отчасти это так. Но дело в том, в какой степени выражено это противоречие между планами содержания и выражения, видом и смыслом города. Про Екатеринбург, например, нельзя сказать, что там нечего показывать.

Что касается Перми, то она оказывается городом более вербальным, нежели визуальным. Пермь надо рассказывать, и это ее существенная особенность. Чем-чем, а качеством и количеством самоописаний Пермь действительно выделяется из ряда других провинциальных городов. Уже в начале XIX в. в рамках проекта Императорского вольного экономического общества директор пермской гимназии Н.С. Попов представил описание Пермской губернии, о котором говорили, что качеством и полнотой оно превосходит другие губернские описания. В 1809 г. в предисловии ко второму изданию труда Попова специально было замечено, что в сравнении с ранее изданными описаниями Астраханской и Кавказской губерний описание Пермской представляется «гораздо обширнейшим» [Хозяйственное описание 1811: 3]. Почти через 200 лет в Перми предпринимается издание 12-томной серии книг с характерным названием «Пермь как текст». И это издание в своем роде по замыслу обещает быть уникальным. Пермская библиотека задумана как «обширнейшее» исследование смысла Перми, пермскости.

В предисловии к труду Попова есть замечательная в своем роде характеристика Пермской губернии. «По местонахождению своему» она «не предоставляет тех приятных, плодоносных и всегдашнею весною украшенных мест и предметов, каковы *видны* [здесь и далее курсив наш. — А.В.] в губерниях «полуденных», Астраханской и Кавказской. Но зато «по богатству своих произведений и по важности своей промышленности гораздо более *занимательна*, а по величественным исходам своих едва проницаемых сокровищ, непрерывными цепями гор защищаемых, и по своим обширным лесам, изобилующим полезными зверями, *несравненно поразительнее как для ума, так и для воображения*» [Хозяйственное описание 1811: 3].

Замечательно, что здесь отчетливо зафиксировано то, о чем мы толкуем: противопоставление визуальной полноты (*видны*) и скрытого (*едва проницаемых*) в глубине богатства. Уже ста-

ринные авторы говорят о Перми в терминах нарратива: Пермь поразительна для ума и воображения и занимательна для рассказа. Очень точно.

Поэтому реальная, вне воображения и рассказа, встреча с Пермью нередко приносит разочарование. Воображаемое о Перми оказывается несравненно богаче той бедной и стертой фактуры, которая открывается перед глазами. Конечно, мотив знакомый и общенациональный: «Не поймет и не заметит чуждый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в красоте твоей смиренной». Но дело в степени выраженности и концентрированности противопоставления видимого и скрытого, поверхности и глубины. В случае Перми оно становится градообразующим. И уникальный механизм работы этого противоречия понятен. Он коренится в акте имянаречения города. При рождении город-новостройка получил древнее имя с богатой историей и мифологией, имя обширной земли, и город усвоил себе мифологию и историю имени. Отсюда и развивается то напряженное соотношение видимого и скрытого в городском пространстве, которое так характерно для Перми.

Именно поэтому так актуальна для нашего города экскурсия как уникальная культурная практика, объединяющая вербальный нарратив с физическим действием — передвижением в пространстве города. Пермь надо рассказывать, раскрывать в слове и разыгрывать в движении по городу. Городская экскурсия — одна из самых демократичных и емких по аудитории культурных практик не только освоения, но и смысловой реструктуризации городского пространства. Но для того чтобы экскурсия раскрыла свой креативный потенциал, нужна новая идеология и новая технология экскурсии и экскурсионного дела.

Что касается идеологии, то я вижу ряд следующих моментов, требующих разработки.

Во-первых, нуждается в переосмыслении подход к определению целевых аудиторий экскурсии. Сегодня экскурсия по городу рассматривается преимущественно как продукт для гостей, тех, кто приезжает в город из других мест и нуждается в общем знакомстве с ним. Между тем важным и требующим особой заботы адресатом экскурсий должны стать жители города. И потенциал аудитории экскурсии, обращенной к горожанам, огромен, начиная от учащихся средней школы и кончая семейным воскресным отдыхом. В этом сегменте пользователей экскурсия может стать существенным фактором консолидации городского сообщества на основе знания и понимания места своей жизни. И, конечно, понятая как практическое городоведение экскурсия должна войти в инструментарий обучения в системе школьного образования.

Во-вторых, в переосмыслении нуждается сам предмет экскурсии. О чем она? И здесь нужен переход от факта к смыслу, от констатации и названия к свободной интерпретации, от традиционного краеведения к герменевтике города, от бедной поверхности в богатую смыслами глубину. Экскурсия, обращенная к горожанам, к тем, для кого город — привычная среда повседневного существования, должна открыть неизвестное и захватывающе интересное в том, что пригляделось и кажется самым обыкновенным. Тактика так понятой экскурсии — открывать занимательные истории и глубинные смыслы в привычном, примелькавшемся, превращать знакомое пространство в загадочное. Так понятая экскурсия — это приключение и поиск в смысловом пространстве города. Это акт коллективного чтения захватывающего городского романа.

Одна лишь иллюстрация. Так называемый Дом чекистов (построен в 1934 г.) на Сибирской улице с архитектурной точки зрения мало что собой представляет. Неплохой образец конструктивизма, но в других местах есть гораздо лучше. Да и разговор о конструктивизме интересен не слишком обширной аудитории. Но зато какой выход в большую историю для простого горожанина откроется, если он представит себе историю этого пермского «дома на набережной». Как в октябре 1941 г. в пятикомнатной квартире на последнем этаже в три часа ночи раздался телефонный звонок. Как вытянувшийся по стойке «смирно» первый секретарь Молотовского обкома партии слушал знакомый глуховатый голос: «Товарищ Гусаров, в ваших руках — судьба Москвы». Как, не в силах уснуть, первый секретарь до утра бродил по громадной квартире, повторяя, как молитву, услышанную фразу. И как заработали после этого ночного разговора пермские военные заводы.

В-третьих, необходимо максимально использовать перформативный потенциал экскурсии, заложенный в ее структурных особенностях. В своем роде экскурсия действительно уникальна как культурная практика освоения городского пространства. В экскурсии органично соединяется тактильное, телесное переживание города с его интеллектуальным исследованием, соединяются рассказ о городе и физическое движение в городском пространстве. В определенном смысле любая экскурсия — это совместное действие, спектакль, перформанс, а экскурсовод — режиссер непрерывно и порой непредсказуемо развивающегося действия. Деятельностная природа экскурсии определяет особенность экскурсионного нарратива. В нем есть перформативный потенциал. Иначе говоря, экскурсия не только открывает смысловую реальность города, но и творит ее, создавая новые структуры смысла.

Библиография

Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ее состоянию в отношении к земледелию, многочисленным рудным заводам, промышленности и домоводству, сочиненное по начертанию Императорского Вольного Экономического общества высочайше одобренному и Тщанием и иждивением оною общества изданное. СПб.: в Императорской типографии, 1811. Ч. 1.

**МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВСКИЙ,
МАРИЯ АХМЕТОВА,
МИХАИЛ ЛУРЬЕ**

1

В антропологических дисциплинах исследования в области городской культуры¹ понимались и понимаются двояко.

2

Во-первых — как изучение культурных явлений, не относящихся к традициям сельского населения (крестьянства) по происхождению и преимущественной или основной среде функционирования. Иначе говоря, *городское* в этом контексте следует понимать как ‘не-деревенское’. Такое размежевание объекта фольклористических и этнографических штудий на две противопоставляемые сферы (из которых, как водится, маркирован только один член оппозиции) связано с историей науки: как известно, с момента своего появления эти дисциплины были ориентированы на описание и исследование либо экзотических «примитивных» культур, либо национальной «простонародной» (т.е. прежде всего крестьянской) культуры. Поэтому, когда перед отечественной гуманитарной наукой на рубеже 80–90-х гг. прошедшего столетия распахнулись врата свободы, перераспределение приоритетов коснулось и этого из-

Михаил Дмитриевич Алексеевский
Государственный
республиканский центр русского
фольклора, Москва
alekseevsky@yandex.ru

Мария Вячеславовна Ахметова
Журнал «Живая старина»,
Москва
malinxi@rambler.ru

Михаил Лазаревич Лурье
Европейский университет
в Санкт-Петербурге
mlurie@inbox.ru

¹ Более лаконичное и удобное выражение *городские исследования* в качестве русского эквивалента *urban studies* и вслед за ним традиционно употребляется применительно к социологическим исследованиям.

мерения, в результате чего исследования явлений городской культуры (по преимуществу второй половины XX в.) получили особое развитие и приобрели большую популярность. В результате за относительно короткий период собирательская и исследовательская работа в области *городского фольклора* и *этнографии города* принесла очень серьезные результаты¹.

У этих исследований суть две общие особенности. Одна из них состоит в том, что при таком понимании *городского* («от противного») под эту марку попадает практически все, кроме так называемой традиционной крестьянской культуры, т.е., в частности, и те явления, которые в принципе лишены какой бы то ни было урбанистической социокультурной специфики просто в силу нерелевантности для данных сообществ отнесенности к тому или иному типу поселения (например, традиции временных закрытых сообществ), и те, которые если не изначально, то уже давно являются достоянием в равной мере городских и сельских традиций (например, современный устный анекдот). Вторая общая особенность упомянутых исследований состоит в том, что в большинстве случаев их авторы при типологизации и интерпретации новых для научной традиции явлений *городской культуры* перенесли на них тот категориальный аппарат и те методологические установки, которые были разработаны при изучении крестьянской культуры, что иногда приводило к очевидным интерпретационным натяжкам и методологическим пробукамкам.

При этом в целом в данном направлении к нынешнему моменту сделано действительно очень много. Можно без особых оговорок сказать, что некоторые культурные явления, еще недавно бывшие белыми пятнами в отечественном антропологическом знании (такие, например, как анекдот XX в., традиции армейского и тюремного сообществ, фольклор детей и подростков, молодежные субкультуры рубежа XX–XXI вв. и некоторые другие²), за это время были описаны весьма основательно.

Во-вторых, под *городскими* в антропологии понимаются разыскания, предмет которых связан с городом, так сказать, тематически — в тех случаях, когда исследователей интересуют культурные тексты и практики, в которых сами городские реалии

¹ Магистральные направления и характер исследований этого периода наиболее репрезентативно отражены в сборнике [Современный городской фольклор 2003], подготовленном в конце 1990-х гг. в ходе работы коллективного семинара под руководством А.Ф. Белоусова и С.Ю. Неклюдова. Помимо данной коллективной монографии в эти годы было опубликовано несколько десятков работ, представляющих те же тематические и методологические предпочтения в антропологических исследованиях.

² См., например: [Архипова 2003; Банников 2002; Ефимова 2004; Поэзия в казармах 2008; Молодежные субкультуры 2009; Русский школьный фольклор 1998; Учебный материал 1989; Школьный быт 1999; Щепанская 2004] и мн. др.

или образы играют определяющую роль. Если для описанной выше категории исследований не имеет принципиального значения, о каком именно городе идет речь, то в данном случае приуроченность к определенному городу (или городам) имеет обязательный характер, поскольку предметом анализа всегда становится культурная специфика того или иного города, репрезентируемая в среде его жителей. При этом, разумеется, уникальность каждого случая не возводится в абсолют, поскольку культурные тексты различных городов могут проявлять стереотипию на многих уровнях.

В России подобного рода исследования изначально развивались в русле историко-краеведческого направления, и прежде всего внимание ученых привлекали *городские легенды* (в отечественном понимании этого термина, т.е. предания, связанные с историей города), наиболее очевидным образом совмещавшие признаки фольклорности с городской спецификой и идеей уникальности культурного образа конкретного города. Важной вехой для этой научной традиции стал сборник Е.Н. Баранова «Московские легенды» (1928), первой попыткой теоретизации — работы Н.П. Анциферова 1920-х гг. (в настоящее время наиболее ярким наследником этой традиции следует считать прежде всего петербургского краеведа Н.А. Синдаловского)¹.

На рубеже XX–XXI вв., когда интерес к городской культуре среди антропологов вновь резко возрос, сфера интересов исследователей культурной специфики города заметно расширилась. В этом отношении наиболее показательна статья И.А. Разумовой «Несказочная проза современного города» из упоминавшейся коллективной монографии «Современный городской фольклор» (2003), где исследовательница, во-первых, разграничивает «I. Общегородской пласт словесности» и «II. Собственно городской фольклор — совокупность текстов “городского” содержания, причем связанного с конкретным городом» [Разумова 2003: 544], а во-вторых, включает во вторую группу, помимо исторических преданий и анекдотов, также репутации отдельных городских локусов, малые текстовые формы, связанные с неофициальной топонимикой, городские слухи и толки².

Первоначально такого рода явления (что видно и по приведенной цитате), анализировались в привычных категориях фольк-

¹ См.: [Баранов 1928; Анциферов 1923; 1924; 1925; Анциферов, Анциферова 1926; Синдаловский 2000; 2008].

² См. также некоторые статьи из раздела «Пространство современного города» того же сборника, где на примере конкретных городских традиций рассматриваются элементы современной *городской мифологии*, устойчивые нарративы и ритуальные практики, связанные с памятниками, городская топонимика.

лористики и этнографии — в общем русле основной массы антропологических городских исследований того времени. Однако со временем, особенно после того как на рубеже 1990—2000-х гг. начали проводиться специальные «городские экспедиции» (см. ниже), поначалу тоже обозначившиеся как *фольклорно-этнографические*, стало очевидно, что рамки понятий *фольклор*, *народная культура* даже в самой расширенной их трактовке в принципе узки для того, чтобы с их помощью можно было описать одновременно и систему локальных представлений, и весь комплекс форм их репрезентаций, и прагматические аспекты их функционирования. Во-первых, в этом случае за рамками рассматриваемого материала неизбежно оказываются аморфные тексты, не соотносимые с понятиями о какой-либо жанровой форме; во-вторых, устойчивые образы и идеи, связываемые с городом, регулярно и системно репрезентируются вовсе не только в формах спонтанного вариативного бытования, но и в институционально продуцируемых текстах и практиках — образовательных, музейно-экскурсионных, агитационных, ритуально-праздничных, а также в индивидуальном творчестве местных литераторов.

Преодолеть эти методологические ограничения отчасти позволила разработка понятия *городской текст* или *локальный текст города* и соответствующих методик собирания и анализа материала. Следует отметить, что термин «локальный текст» (как и его термин-близнец «локальный миф») приблизительно одновременно начал активно использоваться, помимо культурной антропологии, и в литературоведении, и в культурологии, и в других дисциплинарных традициях, в каждой из них имея свое наполнение. В рамках того подхода в антропологических городских исследованиях, который разрабатывается, в частности, авторами этих строк, локальный текст понимается как системы ментальных, речевых и визуальных стереотипов, устойчивых сюжетов и поведенческих практик, связанных с каким-либо городом и актуальных для сообщества, идентифицирующего себя с этим городом. Многообразие реализаций локального текста в городской культуре вынуждает его исследователей пользоваться методами различных научных дисциплин: по методологии антропологическое изучение локального текста находится где-то на пересечении исследования идентичностей, фольклористического анализа текстов и исследования дискурсов.

Очевидно, что локальный текст города при таком понимании — частный случай локального текста жилого места, с которым ассоциирует себя некое сообщество, и можно говорить о локальном тексте деревни, поселка, района. То, что внимание исследователей к феномену локального текста связывается

в первую очередь с городами, не случайно и объясняется вполне конкретными причинами. Во-первых, каждый город, в отличие от деревни (села, поселка), имеет в современной культуре презумпцию уникальности, неповторимой индивидуальности своего «лица» и «характера». Во-вторых, локальная идентичность, соотнесение с конкретным населенным пунктом для городского сообщества имеет большее значение, чем для сельского, соответственно система локальных представлений в первом случае более актуальна. В-третьих, города и горожане в большей степени вовлечены в систему коммуникаций, вследствие чего сообщество городских жителей значительно больше, чем сельских, настроено, с одной стороны, на самопрезентацию, с другой — на рефлексию относительно локальной специфики своего города. В-четвертых, именно в городах развита сеть институтов (музеи, литобъединения, учебно-воспитательные заведения, местные СМИ и т.д.), в задачи и компетенцию которых входят конструирование и трансляция локального текста, воспитание в жителях города местного патриотизма, а результатом их деятельности становится появление и развитие своего рода индустрии локальной идентичности (издание краеведческой литературы, выпуск продукции с местной символикой, выявление и «канонизация» знаменитых земляков, сочинение песен и стихов о городе, топонимическая деятельность, создание сайтов и т.д.). Все это, наряду с историко-научными причинами, обусловившими популярность урбанистического направления в антропологических дисциплинах, вызвало большой интерес к исследованиям локальных текстов именно на городском материале.

Специализированные полевые исследования в городах (как правило, малых) и поселках городского типа начали систематически проводиться со второй половины 1990-х гг.: стоит назвать экспедиции Академической гимназии СПбГУ в Тихвин, Сланцы, Торопец, Старую Руссу, Гдов, Пикалёво; ЛГУ им. А.С. Пушкина в Приозёрск и Лодейное Поле, СПбГУ в Мышкин, РГГУ в Боровск, ГРЦРФ в Муром и Красную Горбатку, центра «Петербургская иудаика» в Могилев-Подольский, Тульчин и Балту (Украина), ПетрГУ в Петрозаводск и Медвежьегорск, полевые исследования И.А. Разумовой и ее учеников в городах Карелии и Мурманской обл., М.Г. Матлина в Ульяновске, К.Э. Шумова в Нытве, межвузовскую экспедицию в г. Бологое¹.

¹ Материалы этих полевых исследований нашли отражение в большом количестве работ. Назовем лишь те, которые непосредственно посвящены локальным текстам: [Алексеевский и др. 2008а; 2008б; Ахметова 2007; Ахметова 2009; Ахметова, Лурье 2005; Ахметова, Лурье 2006; Кулешов 2001; Кулешов 2004; Леонтьева, Маслинский 2001; Литягин, Тарабукина 2000; Литягин, Тарабукина 2001; Разумова 2000 и др.].

В ходе работы этих экспедиций не только было собрано чрезвычайно много материалов, в совокупности позволяющих уже перейти от анализа отдельных случаев к обобщениям, типологическим построениям и интерпретациям, но и формировалась методика антропологической собирательской работы в современном городе, вырабатывались и уточнялись представления о природе и структуре локального текста (провинциального) города. Тем не менее, несмотря на то что работающие в них исследователи принадлежат к одному или к близким научным кругам (а может быть — именно поэтому), более чем за 10 лет не появилось собирательских программ по полевым исследованиям городских локальных текстов. Их отсутствие, с одной стороны, несколько размывает исследовательские ориентиры, с другой — является свидетельством недостаточности обобщающих интерпретаций в сфере локальных текстов.

Значительная часть статей, написанных по материалах упомянутых выше полевых исследований, касается лишь отдельных концептов или сюжетов (или связанных друг с другом наборов концептов и сюжетов) некоторых локальных текстов либо представляет краткие сведения о локальном тексте какого-либо населенного пункта. Однако до сих пор нет ни одного монографического описания отдельно взятого городского текста. Известную проблему представляет и сама форма описания: поскольку локальный текст — вещь во многом эфемерная, в целостном виде (как разделяемая всеми жителями локуса) не существующая, его конструирование исследователем было бы некоторым насилием над культурной реальностью. В этой ситуации возможной формой описания локального текста был сочтен словарь, который включал бы данные о локальных символах идентичности, локусах и топонимах, знаковых событиях, личностях и сообществах отдельно взятого городского текста с необходимыми контекстуальными комментариями (см.: [Алексеевский и др. 2008а; 2008б]).

Нет и работ, в которых прослеживались бы пути формирования и функционирования локальных текстов и их составляющих. Для того чтобы ликвидировать этот пробел, необходимы исследования, которые на материале отдельных фрагментов каких-либо локальных текстов детально прослеживали бы механику и логику их трансмиссии, трансформации и варьирования.

Кроме того, явственно ощущается отсутствие сравнительно-типологических исследований в этом направлении. Повторяемость и стереотипия элементов локальных текстов заметна на различных уровнях, от воспроизведения одних и тех же формул идентичности (*N-городок — Москвы (Петербурга) уголок;*

N — маленький *X*: например, «Могилёв-Подольский — маленькая Одесса»; *N* — брат (сестра и т.д.) *X*: например, «Дмитров — младший брат Москвы», «Ангарск — младший брат Петербурга» и т.д.), микротопонимов (например, *Шанхай* 'густонаселенный дом или район; район частной застройки; дом или район, жители которого пользуются сомнительной репутацией'; *Мудышкина фабрика* 'предприятие, работники которого или производимые ими изделия оцениваются негативно'; *Пентагон* 'здание, построенное в виде буквы П, и т.д.); концептуальных моделей (например, обозначение провинциальности через (квази)столичность или вообще «центральность» — ср., например, представление о Перми как о центре мира, о Самаре — как столице Поволжья и даже пародийную формулу *Тюмень — столица деревень*); сценариев и приемов репрезентации (например, участие ряженных символических персонажей и *genpium loci* в локальных торжествах наподобие дня города; включения локальных символов в элементы презентации самого разного плана (вербального, визуального, и акционального) — отражение локальной символики на сувенирной продукции, в названиях местных продуктов, предприятий, организаций и т.д.¹) — до единства набора доминантных идей, сюжетов и мотивов, структурных элементов, принципов семантизации объектов. Исследований, обобщающих эти закономерности, остро не хватает, особенно с учетом, казалось бы, в достаточной мере накопленного материала.

В заключение обозначим параллельно развивающиеся в отечественной гуманитарной науке направления в сфере изучения современного города, которые в наибольшей степени пересекаются с антропологическими исследованиями городских локальных текстов. Это исследования по культурной семантике и мифологии пространства (в том числе городского), осуществляемые в рамках отдельных направлений культурологии и социологии, философии, политологии и географии, в том числе *гуманитарной географии, когнитивной географии, мифогеографии, региональной дискурсологии*²; исследования *городских диалектных особенностей*, которые часто осознаются как элементы

¹ Например, одним из символов г. Муром являются *калачи* (они изображены на гербе города). Помимо недавно возродившегося производства в Муроме калачей, в городе существует магазин «Муромский калач», угощение калачами становится частым атрибутом празднования дня города и туристических программ, название «Муромские калачи» носит команда КВН одного из муромских вузов и т.д.

² Литература в этой сфере достаточно обширна, в частности издаются специализированные периодические издания, посвященные этой проблематике, — альманах «Гуманитарная география» (с 2004 г.), электронный альманах «Communitas / Сообщество» (с 2005 г.). Упомянем лишь несколько работ, так или иначе связанных с темой локальной идентичности и локальных текстов: [Богомяков 2007; Замятин 2003; Замятин 2008; Захаров 2009; Митин 2007; Рупасов 2009; Савоскул 2009; Тюгашев 2003].

локальной идентичности¹; исследования *образа города*, представленные, после работ К. Линча и его прямых последователей, и в некоторых современных отечественных социологических и антропологических (в частности, фольклористических) работах².

Библиография

- Алексеевский М., Жердева А., Лурье М., Сенькина А.* Материалы к «Словарю локального текста Могилева-Подольского» // Антропологический форум. 2008а. № 8. С. 419–442.
- [*Алексеевский М., Жердева А., Лурье М., Сенькина А.*] Словарь локального текста как метод описания городской культурной традиции (на примере Могилева-Подольского) / Под ред. М. Лурье // Штетл, XXI век: Полевые исследования / Сост. В.А. Дывшиц, А.Л. Львов, А.В. Соколова. СПб.: Европ. ун-т в Санкт-Петербурге, 2008б. С. 186–215.
- Анциферов Н., Анциферова Т.* Город как выразитель сменяющихся культур: Картины и характеристики. Л.: Брокгауз и Ефрон, 1926.
- Анциферов Н.П.* Быль и миф Петербурга. Пг.: Изд-во Брокгауз и Ефрон, 1924.
- Анциферов Н.П.* Душа Петербурга. Пг.: Брокгауз и Ефрон, 1923.
- Анциферов Н.П.* Пути постижения города как социального организма: Опыт комплексного подхода. Л.: Сеятель, 1925.
- Архипова А.С.* Анекдот и его прототип: генезис жанра и происхождение жанра: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2003.
- Ахметова М.В.* Выбор «между Петербургом и Москвой», или дискурс о двух столицах в г. Бологое // Антропологический форум. 2007. № 7. С. 141–155.
- Ахметова М.В.* «Русскость» как топос «локального текста»: случай Мурома // Вестник РГГУ. Сер. «Филологические науки. Литературоведение и фольклористика». 2009. № 9. С. 207–215.
- Ахметова М.В., Лурье М.Л.* Материалы бологовских экспедиций 2004 г. // Антропологический форум. 2005. № 2. С. 336–357.
- Ахметова М.В., Лурье М.Л.* «Маленькая столица между двух столиц» // Отечественные записки. 2006. Т. 32. № 5. С. 207–217.
- Банников К.Л.* Антропология экстремальных групп. Доминантные отношения среди военнослужащих срочной службы Российской Армии. М.: ИЭА РАН, 2002.

¹ См., например: [Беликов 2010; Ерофеева, Скитова 1992 (о Перми); Колесов 2006 (о Петербурге); Прокуровская 1996 (об Ижевске)] и др.

² См., например, недавно вышедшую книгу И.А. Разумовой, посвященную культурным образам городов Кольского полуострова [Разумова 2009], исследования фольклорных текстов и этнографических практик (как «традиционных», так и «городских»), бытование которых во многом определяется географическими аспектами [Дранникова 2004; Калуцков, Иванова 2006; Иванова, Калуцков, Фадеева 2009].

- Баранов Е.З.* Московские легенды. М., 1928. Вып. 1. (Старая Москва / Секция о-ва изучения Моск. губ.).
- Беликов В.И.* Лексическая специфика города и региональная идентичность: к постановке проблемы // Проблемы компьютерной лингвистики. Вып. 4. Воронеж: Воронеж. гос. пед. ун-т, 2010 (в печати).
- Богомяков В.Г.* Региональная идентичность «земли тюменской»: мифы и дискурс. Екатеринбург: Дискурс-Пи, 2007.
- Дранникова Н.В.* Локально-групповые прозвища в традиционной культуре Русского Севера. Функциональность, жанровая природа, этнопоэтика. Архангельск: Помор. ун-т, 2004.
- Ерофеева Т.И., Скитова Ф.Л.* Локализмы в литературной речи горожан. Пермь: Пермский ун-т, 1992.
- Ефимова Е.С.* Современная тюрьма: Быт, традиции, фольклор. М.: О.Г.И., 2004.
- Замятин Д.Н.* Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. М.: Алетейя, 2003.
- Замятин Д.Н.* Локальные мифы: модерн и географическое воображение // Литература Урала: история и современность. Сб. ст. Вып. 4. Локальные тексты и типы региональных нарративов. Екатеринбург: Уральский ун-т, 2008. С. 10–12.
- Захаров А.В.* Культурные герои медийной провинции // Интернет и фольклор: Сб. ст. М.: Гос. респ. центр рус. фольклора, 2009. С. 20–31.
- Иванова А.А., Калуцков В.Н., Фадеева Л.В.* Святые места в культурном ландшафте Пинежья. М.: О.Г.И., 2009.
- Калуцков В.Н., Иванова А.А.* Географические песни в традиционном культурном ландшафте России. М.: ПФОП, 2006.
- Колесов В.В.* Язык города. М.: КомКнига, 2006.
- Кулешов Е.В.* СобираТЕЛЬСкая работа в Тихвине: аксиология городско-го пространства // Живая старина. 2001. № 1. С. 13–15.
- Кулешов Е.В.* «А Тихвин тогда маленький был...» // Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 161–178.
- Леонтьева С.Г., Маслинский К.А.* Город и турист: механизмы самопрезентации «классической» провинции // Провинция как реальность и объект осмысления: М-лы науч. конф. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2001. С. 76–86.
- Литягин А.А., Тарабукина А.В.* К вопросу о центре России (топографические представления жителей Старой Руссы) // Русская провинция: миф — текст — реальность. М.; СПб.: Тема, 2000. С. 334–347.
- Литягин А.А., Тарабукина А.В.* Специфика исследования культуры малых городов // Живая старина. 2001. № 1. С. 12.
- Митин И.И.* Воображая город: ускользающий Касимов // Вестник Евразии. 2007. № 1 (35). С. 5–27.

- Молодежные субкультуры Москвы: [Сб. ст.] / Сост. Д.В. Громов, Отв. ред. М.Ю. Мартынова. М.: ИЭА РАН, 2009.
- Поэзия в казармах: Русский солдатский фольклор (из собрания «Боян» Андрея Бройдо, Джаны Кутьиной и Якова Бройдо). М.: О.Г.И., 2008.
- Прокуровская Н.Я.* Город в зеркале своего языка. Ижевск: Удмуртский ун-т, 1996.
- Разумова И.А.* «Как близко от Петербурга, но как далеко» (Петрозаводск в литературных и устных текстах XIX–XX вв.) // Русская провинция: миф — текст — реальность. М.; СПб.: Тема, 2000. С. 324–334.
- Разумова И.А.* Культурные ландшафты Кольского Севера: города у «Большой воды» и Хибин: Социально-антропологические очерки. СПб.: ГАМАС, 2009.
- Разумова И.А.* Несказочная проза провинциального города // Современный городской фольклор. М.: РГГУ, 2003. С. 544–559.
- Рупасов Н.Ю.* Ментальные карты Ижевска: стартовые позиции и перспективы города // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции: науч.-практ. журнал. 2009. № 2 (6): Ментальные карты Ижевска: Атлас городской среды / Под общ. ред. Д.М. Сахарных. С. 29–75.
- Русский школьный фольклор. От «вызываний» Пиковой дамы до семейных рассказов. М.: Ладомир, 1998.
- Савоскул С.С.* Локальное самосознание современного русского населения Центральной России (на материале Переславля-Залесского) // Очерки русской народной культуры. М.: Наука, 2009.
- Синдаловский Н.А.* Мифология Петербурга: Очерки. СПб.: Норинт, 2000.
- Синдаловский Н.А.* Санкт-Петербург. Энциклопедия: легенды, предания, мифы, пословицы, поговорки, афоризмы, анекдоты, частушки, стихи, песни. СПб.: Норинт, 2008.
- Современный городской фольклор. М.: РГГУ, 2003.
- Тюгашев Е.А.* Концептосфера современной Югры: дискурс Александра Филиппенко // Северный регион: наука, образование, культура: Науч. и культур.-просвет. журнал. Сургут, 2003. № 1. С. 87–92.
- Учебный материал по теории литературы. Жанры словесного текста. Анекдот / Сост. А.Ф. Белоусов. Таллин: Таллинский пед. ун-т, 1989.
- Школьный быт и фольклор: Учебный материал по русскому фольклору. Таллин: Таллинский пед. ун-т, 1992. Ч. 1, 2.
- Щепанская Т.Б.* Система: тексты и традиции субкультуры. М.: О.Г.И., 2004.

СТИВЕН БИТТНЕР

Куда идет историческая урбанистика?

Немногие исторические области знания переживали на протяжении долгих лет такие сомнения в себе и такой пессимизм, как городская история. Почти с самого своего появления в 1960-е гг. в качестве ответвления возникавшей социальной истории исследователи городской жизни и урбанизации ставили под сомнение легитимность своей области знания, перечисляя ее изъяны, предсказывая ее закат и / или взывая к переменам. Социолог Чарльз Тилли, один из наиболее продуктивных и творческих авторов, размышлявших о пересечении масштабных социальных процессов и деталей городской жизни, однажды озаглавил свою статью «Зачем нужна историческая урбанистика?». Тилли, несомненно, иронизировал над экзистенциальными страхами, охватившими данную область, и в конце концов защищал ее от множества сомневавшихся, однако смысл его статьи был беспощадным: историки-урбанисты «обратили свой невидящий взгляд на вызов» — анализ городов. Результатом этого явилась «бездействующая» наука, нуждавшаяся в реанимировании [Tilly 1996: 702–704].

Что же не так с городской историей? Почти через полвека после создания дисциплины мы видим минимальный консенсус относительно того, что делает городскую историю специфически городской, а не социальной, культурной, не историей труда, окружающей среды, архитектуры — выберите любой ярлычок, посредством которого историки категоризируют свою отрасль знания. У специалистов по американским городам историческая урбанистика, как правило, обозначает исследования сегрегации среди жителей и формирования гетто, этнической ассимиляции, миграции афроамериканцев с сельского Юга, субурбанизации, а также экономических и социальных кризисов,

охвативших американские города в 1960–1970-е гг. Однако столь же часто ученые, занимающиеся этими темами, используют другие обозначения для своей работы. Сходным образом, для историков европейских городов в рубрику исторической урбанистики попадают исследования рабочего класса, архитектуры и городского планирования, а в некоторых хронологических контекстах (Париж в 1871 г. и Петроград в 1917 г.) иногда, хотя и не всегда — революционный конфликт. Эти тематические списки, которые отнюдь не являются исчерпывающими, должны подчеркнуть то, что на практике городская история является историей не столько городов, сколько живущих в городах людей и событий, которые там происходят. На самом деле как основной предмет анализа города нередко странным образом выпадают из городской истории.

Мое наблюдение не ново. Более тридцати лет назад Дон Карл Роуни, историк экономической и бюрократической политики царской эпохи, отметил, что город слишком часто являлся «движущейся мишенью» в городской истории [Rowney 1977: 321]. Роуни призвал историков найти общие основания по ключевым проблемам, вроде методологии, теории и сферы компетенции. Поскольку существует естественная тенденция к тому, чтобы отстаивать многообразие подходов, на призыв Роуни можно легко не обращать внимания. Однако значение его призыва заключается именно в том, что Роуни подчеркивает нечеткость границы между благотворным многообразием и опасной бессодержательностью. Поскольку город чрезвычайно важен для понимания Нового времени, почти любая тема по истории последних 150 лет может пониматься как косвенно связанная с городской проблематикой.

Действительно, с моей точки зрения, через тридцать лет после появления текста Роуни отсутствие критического центра в исторической урбанистике, вкупе с точно датируемым уходом от социальной истории, привело область к маргинализации. Несмотря на громадную территорию городской истории, число историков, рассматривающих города в качестве основного объекта своего анализа, а городскую историографию — своей основной системы координат, невелико и при этом уменьшается.

Между тем, быть может, все не так уж мрачно в городской истории. В сфере русской и советской истории, области, которой я занимаюсь, ряд недавних исследований демонстрирует возможность преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию. По большей части эти труды пишут историки, которые, как и я, не занимаются напрямую городской историографией или, если уж на то пошло, не готовы категоризировать свою работу в ка-

честве относящейся в первую очередь к исторической урбанистике. Тем не менее у них есть общие представления, касающиеся города, а также относительно того, как его интерпретировать, причем эти представления идут вразрез с более ранними работами. Если исследователи хотят предпринять перестройку городской истории с тем, чтобы снова сделать ее значимой, эти общие моменты могут оказаться хорошей стартовой позицией.

Поменьше Маркса, побольше Зиммеля

В 1952 г. только в шести американских колледжах и университетах читались курсы по истории американских городов. К середине 1960-х гг. их число выросло почти до 50, а к началу 1980-х гг. городская история стала «поистине основным продуктом», производившимся на исторических факультетах по всей стране [Ebner 1981: 70]. Вместе с популярностью в рамках учебных программ пришли большие деньги, специальные журналы (в 1974 г. начал выходить «Journal of Urban History», первый в англоязычном мире), а также волна докторских диссертаций по темам, относящимся к исторической урбанистике. Растущий интерес в городской истории подогревался главным образом союзом этой области знания с все более модной социальной историей, опиравшейся на статистику. В весьма влиятельной статье 1971 г. Стивен Фернстром, исследователь Бостона, указал на формирование «новой городской истории», многим обязанной количественным источникам. Критикуя «ускользающие» границы городской истории, где любая работа, в каком-то смысле связанная с городом, считалась обладающей правом на включение в рамки данной области, Фернстром призвал историков-урбанистов изучать историю «снизу вверх», используя прежде не использовавшиеся источники (церковные приходские книги, городские справочники, местные налоговые ведомости, а также необработанные (не сведенные в таблицы) данные, собранные в ходе переписи населения Соединенных Штатов) [Thernstrom 1971: 359–361].

В призыве Фернстрома к действию не было ничего особенного. Отчасти он был вдохновлен сходным интересом в сфере исторической демографии, которая разрабатывалась в Великобритании и Франции. Как и представители школы «Анналов», Фернстром полагал, что новые количественные источники позволят историкам судить о долгосрочных тенденциях, таких как изменчивость городского населения, классовая и этническая сегрегация, социальная мобильность, типы миграции из сельской местности и за границу. Кроме того, они обдумывали возможность (которая была новой в 1971 г.) использования компьютеров для анализа возраставшего количества данных.

Фернстром выступал за математическую строгость, поскольку он считал, что не существует никакой «мощной общей социальной теории, имеющей отношение к проблемам, более всего интересующим историка-урбаниста» [Thernstrom 1971: 362]. При отсутствии теории наступает царство упрямого эмпиризма.

Последнее утверждение Фернстрома может вызвать удивление, поскольку это ощущение отнюдь не было господствующим в области городской истории в целом. Среди социальных историков была широко распространена тенденция рассматривать марксизм в качестве общей теории общества. У городских историков обращение к марксизму было еще заметнее, отчасти потому, что знаменитое описание Манчестера, сделанное Фридрихом Энгельсом в 1844 г., стало олицетворением целого ряда положений исторической урбанистики о городах Нового времени: они являлись пространствами отчуждения, социального сбоя, разрушения окружающей среды и преступности. Не все городские историки соглашались с диагностированной Энгельсом основной причиной болезни города (историки американских городов, например, были склонны говорить не о капитализме, а о расизме). Но обнищание американских городов в 1950–1960-х гг., бегство белых в предместья, растущая преступность, деиндустриализация, а также бунты в Лос-Анджелесе, Детройте и Ньюарке заставляли думать, что город — это бедность, отчаяние и разложение. Действительно, даже Фернстром, который позднее стал видным «неоконсервативным» ученым в Манхэттенском Институте, сделал себе имя, изучая городскую бедность.

На русском материале этот сугубо количественный подход к городской истории представлен в насыщенном исследовании Джозефа Бредли о росте позднецарской Москвы. Пытаясь объяснить особую взрывоопасность ситуации в Москве по время революционных беспорядков 1905 г., Бредли использует данные переписи и другие демографические материалы, чтобы создать портрет «кишащих» масс крестьян-мигрантов, вызывавших такую тревогу среди москвичей, а также описать изобретенные с добрыми намерениями, но неудачные схемы приобщения мигрантов к нормам городской жизни. Бредли приходит к немарксистскому выводу о том, что именно устойчивый характер сельских типов поведения и черт отличает урбанизацию Москвы в конце XIX в., при этом его исследование воплощает неотчетливо марксистскую ориентацию городской истории, поскольку в центре работы оказываются социальный сбой и беспорядки. Состоящая из «бродяг, нищих, бездельников, паразитов и хулиганов», Москва в описании Бредли оказывается пороховой бочкой гнева и зависти [Bradley 1985: 1].

Рискую показаться бесчувственным по отношению к положению униженных и обездоленных, однако отмечу, что существуют пределы того, что данный тип истории может рассказать нам о городской жизни. Посмотрим, например, на студента американского колледжа, который знаком с Москвой конца императорской эпохи только по книге Бредли и пьесе Чехова «Три сестры» (1901). Образы городской жизни, представленные в этих текстах, не так-то просто примирить друг с другом. Ольга, Ирина и Маша, героини Чехова, стремятся исключительно к тому, чтобы убежать в Москву от своего безмятежного провинциального существования. Однако если верить Бредли, город, по которому они тоскуют, является кипящим котлом гнева низших классов и страха высших классов. Конечно, в книге Бредли не хватает именно того, что Ольга, Ирина и Маша считают существующим в Москве: эмоционального подъема, космополитизма, свободы и культуры. Их взгляд на Москву сквозь розовые очки не следует отбрасывать как элементарную классовую пристрастность и юношескую наивность. (В конце концов, и Семен Канатчиков, крестьянин, ставший рабочим, воспринимал этот большой город сходным образом.) Скорее этот взгляд отражает давнишнее иное представление о городе как о месте индивидуальной свободы и реализации собственных возможностей.

Это представление о городе исключительно тесно связано с именем Георга Зиммеля, относительно забытого немецкого социального теоретика конца XIX — начала XX в., чьи работы в значительной степени стали фундаментом социологии города. В работе «Большой город и духовная жизнь» (*Die Großstadt und das Geistesleben*) Зиммель пишет, что город Нового времени, поскольку он является местом «наиболее продвинутого экономического разделения труда», дает возможность наиболее полной реализации индивидуальной свободы и независимости. Это представление в значительной степени отражает типичное либеральное мышление XIX столетия.

Однако далее Зиммель делает неожиданный поворот. Он отмечает, что город Нового времени, кроме того, препятствует выражению этой свободы и индивидуальности по сравнению с деревнями и маленькими городами из-за своего размера, количества жителей, а также краткости контактов между ними. Согласно Зиммелю, этот парадокс приводит, «в конце концов, к самым странным эксцентричностям, к присущим именно большим городам экстравагантностям самодистанцирования, причуд, утонченности, смысл которых больше не заключается в содержании подобных действий, но в том, что они являются формой “инаковости” — стремления сделать себя заметным». Поэтому в формулировке Зиммеля город маркирует место, где

представления Просвещения об индивидуальной свободе и независимости сталкиваются лицом к лицу с антипросвещенческими (или романтическими) представлениями об уникальности и неподражаемости каждого человека. Как пишет Зиммель, задача большого города заключается именно в том, чтобы найти возможность объединения этих явлений [Simmel 1971: 335–336].

Зиммель никогда не устаивался такого критического внимания, которое городские историки выказывали по отношению к Марксу и Энгельсу, между тем о нем всегда помнили. Его представление о городе как месте личной свободы и индивидуальности находит свое отражение, по крайней мере имплицитно, в целом ряде исторических работ, таких как ревизионистская история проституции в викторианской Англии, написанная Джудит Валковиц [Walkowitz 1982], и пионерское исследование Джорджа Чонси, посвященное гомосексуализму в Нью-Йорке [Chauncey 1995]. Общим для этих работ является нежелание описывать город исключительно (или даже в первую очередь) в терминах, предложенных Марксом и Энгельсом, а именно — как место отчуждения и социального сбоя.

В своей феминистски ориентированной защите городской жизни Нового времени Элизабет Уилсон напрочь отвергает неодобрение Энгельсом смены гендерных ролей, типичной для текстильных центров Англии. Энгельс считал это совершенным безумием, но его нападки на работающих женщин отражали нечто большее, чем шовинистический ужас перед «независимостью фабричных женщин». Возможно, как насмешливо отмечает Уилсон, «отсутствие порядка в городской жизни», которое часто становилось предметом обвинений Энгельса, Диккенса и пр., «не очень-то беспокоило женщин» [Wilson 1992: 8, 33]. Сходные наблюдения можно было бы сделать и относительно художников и писателей, некогда искавших убежище в Гринич Вилледж в Нью-Йорке и на московском Арбате, а также относительно смекалистых молодых технарей практически со всего земного шара, которые сегодня заполняют кафе в районе Мишн в Сан-Франциско, надеясь присутствовать при создании нового Гугла.

В русской и советской истории также заметны признаки значимости идей Зиммеля относительно города. В своем исследовании, посвященном послевоенной советской молодежи, Джулиана Фюрст отмечает, что после 1945 г. приверженность молодых людей коллективистскому революционному проекту вытеснялась особой ролью индивидуальности и дружбы [Fürst 2010]. Поколенческая группа, которая находится в фокусе исследования Фюрст, не является в строгом смысле слова город-

ской, но источники, используемые исследовательницей, прямо указывают это направление. Более того, некоторые процессы в советской молодежной среде, которые более всего интересуют Фюрст, такие как появление *стиляг*, были абсолютно городскими. Обращая особое внимание на «стремление сделать себя заметным», Зиммель также предвосхищает то, что Фюрст определяет в качестве одного из важнейших признаков послевоенной советской молодежи — самоопределение через потребление. Растущая литература о советской моде, рекламе, массовой культуре, розничной торговле и архитектуре может предложить столь же многообещающие пути исследования представлений Зиммеля об индивидуальности, а также городском мире постоянных чувственных стимулов, который он рассматривал как место рождения индивидуальности.

Отчасти полезность работ Зиммеля применительно к советскому контексту заключается в том, что он не смешивал личные политические свободы, которые, несомненно, были чрезвычайно ограничены в Советском Союзе, с индивидуальностью. Действительно, Фюрст вводит похожее различие между политической оппозиционностью советских молодых людей (которая, как она пишет, была весьма редкой) и нонконформистским поведением (которое становилось все более распространенным). Однако по большей части историки России и Советского Союза не использовали идеи Зиммеля систематически. В стране, где в XX в. произошли две городских революции, где индустриализация была навязана сопротивлявшемуся населению репрессивным государством и где города вроде Воркуты и Магнитогорска были построены заключенными в тундре и в степи, применимость марксистских представлений о городе как котле социального недовольства была слишком значительной, чтобы ее игнорировать. Тем не менее это не значит, что подобные представления с исчерпывающей полнотой отражают сложность городской жизни в России и Советском Союзе, и еще меньше они могут рассказать нам о том, как большая часть городских обитателей ощущала тот город, в котором жила.

Место имеет значение

Среди представителей первого поколения историков-урбанистов было принято считать, что в задачу их ремесла входит нечто большее, чем писание «биографий городов». Достоинство восхищения их чувство, мотивировавшееся желанием создать общую исследовательскую программу, которая способствовала бы плодотворным обменам между учеными, работавшими в рамках разных национальных историографий и языковых

традиций. В 1970-е и в начале 1980-х гг. (в годы, на которые приходится высшая точка в развитии социально-исторического подхода) это означало изучение городских социальных групп, сетей и структур.

Между тем уход от «биографий городов» обладал целым рядом неприятных последствий. Наиболее существенным является то, что слишком часто стремление историков к обобщениям затемняло пространственную и географическую специфику конкретных городов. Это означало, что город стал немногим более статического, инертного контекста для важных событий (таких как формирование классов), которые в нем происходили. Более того, исследования физических аспектов города (анализ архитектуры, городского планирования и т.д.) были отнесены на периферию городской истории, а иногда и вовсе вынесены за ее пределы. Даже Тилли, признававший ценность этих подходов, утверждал, что городская история в основе своей является социально-исторической антрепризой и что историки-урбанисты, следовательно, «должны двигаться к самым смелым горизонтам социальной истории» [Tilly 1996: 704].

Историки, занимавшиеся русскими и советскими городами, особенно в последние годы, демонстрируют понимание этих изъянов. Это способствовало тому, что люди, которыми мы занимаемся (жители советских городов), стали нередко осознавать специфичность своей городской среды, даже пытаться сохранить эту специфичность (или, как в знаменитом фильме Эльдара Рязанова, посмеяться над ее отсутствием).

Блэр Рабл отмечает во вступительной статье к недавнему сборнику по городской истории и идентичности в Европе, что «местная история, сохранение окружающей среды и исторических памятников — инициативы, связанные с местом, — были теми немногими поводами для социальной мобилизации, которые считались легитимными с точки зрения коммунистических режимов во всей Центральной и Восточной Европе, а также в Советском Союзе» [Ruble 2003: 4]. Отчасти Рабл имеет в виду *краеведение*, которое широко распространилось в 1950–1960-е гг. как часть массового интереса к прошлому, который вырос из хрущевской оттепели. Партийные лидеры считали краеведение достаточно безопасным для официальной идеологии (по сравнению с более чреватými угрозами научными дисциплинами вроде генетики), поэтому для исследований краеведы получили широкую автономию. На самом деле партийные лидеры приняли краеведение по многим из тех же самых причин, по которым западные историки-урбанисты отвергали частнозначимость «городских биографий»: они считали это пустяком.

Тем не менее краеведение отнюдь не являлось малозначительным. В Москве оно способствовало возникновению мощного движения по охране памятников, которое потребовало большего участия общества в проектах по городскому планированию 1960-х гг., а в дальнейшем, в 1970-х, оказалось связанным с консервативной ветвью русского национализма. И несмотря на то что краеведами оказывались многие — от школьников до любителей истории, на авансцене этой области оказалась кучка профессиональных историков. Например, главным краеведом-знатоком Арбата остается С.О. Шмидт, один из наиболее авторитетных историков России раннего Нового времени. На почти поквартирной основе Шмидт составил хронику культурной истории своего родного Арбата, отраженную в книгах и статьях, которые отчасти являются воспоминаниями, отчасти научными исследованиями, а в целом — работой, замешанной на любви.

Это внимание к специфике советских городов породило историко-урбанистическую литературу, отличительной чертой которой является интерес к тому, как городские ландшафты обрастают популярными мифами и коллективной памятью и как они функционируют в этих ландшафтах. После смерти Сталина, быть может, наиболее распространенный из этих народных мифов вырос вокруг Арбата. Воплощенный главным образом в стихах и песнях Б.Ш. Окуджавы и романах А.Н. Рыбакова, арбатский миф помещал интеллектуальный и культурный рай на тот Арбат, который существовал до эпохи Сталина. Здесь велся счет арбатским потерям — человеческим и архитектурным — прошедших лет. Миф объяснял предполагаемую гибель Арбата через устойчивую ассоциацию этого района с русской и советской интеллигенцией.

Таким образом, арбатский миф не являлся отчетливо ложным представлением (в самом деле, он содержал больше, чем просто зерно истины). Скорее он принадлежал к представлениям, которые принимаются некритически, поскольку помогают объяснить прошлое, являющееся морально двусмысленным и потенциально опасным. Поскольку миф представлял Арбат как синекдоху интеллигенции, он позволял Окуджаве и Рыбакову говорить об этом районе такие вещи — вроде оплакивания его предполагаемой смерти — которые было невозможно сказать об интеллигенции. Более того, в эпоху, когда вопросы вины и соучастия волновали всех, арбатский миф отдавал предпочтение воспоминаниям интеллигенции, противостоявшей Сталину и в результате пострадавшей, а также приглушал воспоминания той интеллигенции, которая оказалась среди больше всего выигравших от сталинизма [Bittner 2008: 29–39].

Сходный интерес к конструированию и функции городских мифов можно обнаружить в исследовании Карла Куаллса о послевоенном восстановлении Севастополя, где празднование годовщины двух героических оборон Севастополя стало причиной столкновения жителей и чиновников. То же можно обнаружить и в работе Патриши Херлихай и Олега Губара об одесском мифе, согласно которому Одесса не является ни украинским, ни русским городом, а космополитическим, нацеленным на контакты с другими странами анклавом, разнородностью черноморского Гонконга [Qualls 2009; Gubar, Herlihy 2009].

Историки Советского Союза также продемонстрировали способность рассматривать город как нечто большее, чем инертный фон для его жителей. Карл Шорске однажды описал архитектуру венской Рингштрассе (Ringstrasse) как «иконографический индекс для сознания господствовавшего австрийского либерализма» [Schorske 1981: 26–27]. Шорске, вероятно, считал бы сталинскую архитектуру еще более прозрачным историческим источником. Изысканно украшенные неоклассические и готические фасады, которые стоят по радиальным улицам Москвы, являются отчетливым выражением ценностей сталинизма: иерархии, элитизма, благоговейного трепета [Паперный 1996: 100–143].

Тем не менее на протяжении двух эпох советской истории — в 1920-е и в начале 1960-х гг. — архитектура намного превосходила сталинское зодчество. В эти периоды советские архитекторы стремились создавать здания, которые пропагандировали набор ценностей, резко отличавшихся от ценностей сталинизма: эгалитаризм, гендерное равенство, демократию. (Конечно, в другие эпохи, в 1950-е и в 1970-е гг., когда господствовала этика утилитаризма, всему знающего цену, советская архитектура намного уступала архитектуре сталинского периода!)

Первый из этих периодов, 1920-е гг., совпал с расцветом советского конструктивизма и был подробно описан историками культуры и архитектуры. Этот период закончился в 1931 г., когда Лазарь Каганович, которому надоели казавшиеся бесконечными дебаты среди архитекторов, заявил, что советская архитектура является социалистической по местоположению, а не по сути. О возрождении конструктивистского этоса в начале 1960-х гг. известно гораздо меньше. Толчком к началу этого процесса стало принятие на XXI съезде новой партийной программы, а затем запуск кампании «новой жизни», так что судьба конструктивизма 1960-х была неотрывна от судьбы Хрущева. Результатом возрождения конструктивизма стало очень незначительное число зданий, наиболее знаменитым из кото-

рых стал Дом Нового быта Натана Остермана в Новых Черемушках, не снискавший популярности. Быть может, самым важным было то, что не удалось сделать, несмотря на смелые попытки горстки архитекторов и историков архитектуры в Москве, — официальная реабилитация «формалистических» конструктивистских экспериментов 1920-х гг.

Конечно, это неполный обзор богатств советской архитектурной истории. Мне хотелось лишь подчеркнуть ту мысль, что относительно динамическое понимание городского ландшафта является глубоко укорененным среди историков Советского Союза: люди создают города, города формируют людей.

Последняя часть этого уравнения — как города формируют людей — оказалась одним из наиболее перспективных путей исследования в исторической урбанистике последних лет. Один из подходов к решению данной проблемы заключается в анализе типов политического поведения, реализуемых в определенном районе, городе или, как показывает Блэр Рабл, типе городов. В сравнительном исследовании Москвы Серебряного века, Осаки эпохи Мэйдзи и Чикаго Позолоченного века Рабл пишет, что «вторые метрополии» (термин, обозначающий чувство неполноценности и уязвленную гордость) часто придерживаются более изобретательной, плюралистической и прагматической политики, чем главные городские центры — Санкт-Петербург, Токио и Нью-Йорк [Ruble 2001].

Сходным образом Г.В. Голосов попытался найти объяснение существованию в Петербурге сравнительно либерального постсоветского электората, сфокусировав внимание на особенностях места. Однако в отличие от Рабла Голосов связывает избирательные стратегии Петербурга не с его переводом в статус «второй метрополии» в 1918 г., а с уникальным набором коллективных воспоминаний о прошлом города, в которых предпочтение отдается демократии и хорошим манерам [Golosov 2003].

Другой тип исследований того, как города формируют людей, фокусируется на идентичности. Нетрудно заметить, что миф о космополитической Одессе, например, основывается на реальном ощущении отличия, истоком которого являются цветистый язык одесситов, их юмор, мягкий климат, а также история полиэтнического, поликонфессионального *porto franco* и еврейского Вавилона, домашнего мира Остапа Бендера и Бени Крика.

На самом деле одесская идентичность сопротивляется простой категоризации. Основным языком Одессы остается русский (хотя по закону в школах преподают украинский), а одесситы,

несмотря на протесты украинских казаков, используют символику Российской империи, вроде поставленного в 2007 г. монумента Екатерине II на вершине Потемкинской лестницы. Тем не менее одесситы рассматривают это не как этнические маркеры или свидетельство стойкой лояльности по отношению к восточному соседу, но как ценные остатки «уникального космополитического прошлого» города. Поэтому и украинские, и русские националисты испытывают разочарование в отношении Одессы, остающейся «enfant terrible среди городов» [Herlihy 2008: 23].

Столь же полезным полем для изучения того, как формируются уникальные городские идентичности, может оказаться история спорта. Для своих фанатов московский «Спартак» воплощал пролетарскую брутальность, которая отличала его от давнего соперника — московского «Динамо» (к великому несчастью для своего пиара, эта команда аффилирована с МВД). Болеть за «Спартак» — мягкая форма нонконформизма — утверждения рабочей солидарности, жесткости, а также антиэлитарности, укорененных в пролетарском прошлом московской Пресни [Edelman 2009].

За достойным внимания исключением Блэра Рабла, давно уже говорящего о ценности отчетливо урбанистического подхода к русской и советской истории, исследователи, чьи работы я упоминал в качестве свидетельства возрождения исторической урбанистики, обычно не склонны к тому, чтобы идентифицировать себя с данной областью. Их скорее интересуют другие научные проблемы: природа сталинизма и реформы, последовавшие за смертью Сталина, формирование национализма и национальных идентичностей, отношения центра и периферии, а также причины коллапса СССР. Поэтому в известном смысле историческая урбанистика России и Советского Союза прошла половину круга — от той ситуации, в которой область в широком смысле находилась тридцать лет назад, когда Дон Карл Роуни с тревогой говорил о том, что города слишком часто выпадают из так называемой исторической урбанистики.

В отличие от более ранних работ нынешние исследования, посвященные России и СССР, рассматривают города в качестве тем, заслуживающих специального анализа: или как пространства, где люди стремятся к индивидуализму и полноте жизни, как культурные артефакты, обрастающие мифами и воспоминаниями, или как структуры, формирующие мировоззрение конкретных людей, их идентичность и представления. Тем не менее парадокс заключается в том, что авторы всех этих исследований не подозревают об их цельности и значимо-

сти перед лицом урбанистической историографии. Быть может, этот материал и станет началом разговора.

Библиография

Паперный В. Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 1996.

Bittner S. The Many Lives of Khrushchev's Thaw: Experience and Memory in Moscow's Arbat, 1953–1968. Ithaca: Cornell University Press, 2008.

Bradley J. Muzhik and Muscovite: Urbanization in Late Imperial Russia. Berkeley, 1985.

Chauncey G. Gay New York: Gender, Urban Culture, and the Making of the Gay Male World, 1890–1940. N.Y.: Basic Books, 1995.

Ebner M. Urban History: Retrospect and Prospect // *Journal of American History*. 1981. Vol. 68. P. 69–84.

Edelman R. Spartak Moscow: A History of the People's Team in the Workers' State. Ithaca: Cornell University Press, 2009.

Fürst J. Stalin's Last Generation: Post-War Soviet Youth and the Emergence of Mature Socialism. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Golosov G. Identity Contests: Local History and Electoral Politics in St. Petersburg // B. Ruble, J. Czaplicka (eds.). *Composing Urban History and the Constitution of Civic Identities*. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 2003. P. 117–139.

Gubar G., Herlihy P. The Persuasive Power of the Odessa Myth // J. Czaplicka, N. Gelazis, B. Ruble (eds.). *Cities after the Fall of Communism: Reshaping Cultural Landscapes and European Identity*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009. Ch. 5. P. 137–166.

Herlihy P. How Ukrainian Is Odesa? From Odessa to Odesa // S. Ramer, B. Ruble (eds.). *Place, Identity, and Urban Culture: Odesa and New Orleans*. Washington D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2008. P. 19–26.

Qualls K. From Ruins to Reconstruction: Urban Identity in Sevastopol after World War II. Ithaca: Cornell University Press, 1999.

Rowney D. What Is Urban History? // *Journal of Interdisciplinary History*. 1977. Vol. 8. P. 319–327.

Ruble B. Living Apart Together: The City, Contested Identity, and Democratic Transition // B. Ruble, J. Czaplicka (eds.). *Composing Urban History and the Constitution of Civic Identities*. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 2003. P. 1–21.

Ruble B. Second Metropolis: Pragmatic Pluralism in Gilded Age Chicago, Silver Age Moscow, and Meiji Osaka. Cambridge. 2001.

Schorske C. Fin-de-Siècle Vienna: Politics and Culture. N.Y.: Vintage Books, 1981.

Simmel G. On Individuality and Social Forms. Chicago: Chicago University Press, 1971.

Thernstrom S. Reflections on the New Urban History // *Daedalus*. 1971. Vol. 100. P. 359–375.

Tilly C. What Good Is Urban History? // Journal of Urban History. 1996. Vol. 22. P. 702–719.

Walkowitz J. Prostitution and Victorian Society: Women, Class, and the State. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

Wilson E. The Sphinx in the City: Urban Life, the Control of Disorder, and Women. Berkeley: University of California Press, 1992.

Перевод с англ. Аркадия Блюмбаума

АНАТОЛИЙ БРЕСЛАВСКИЙ

1

2

В качестве самоидентификации хотел бы сразу указать на свои исследовательские интересы. Они связаны непосредственно с отечественной городской историей и в частности с тем, как город конструируется в региональных дискурсивных практиках исторической науки. В ответах на поставленные вопросы я буду опираться преимущественно на опыт исследования постсоветского Улан-Удэ¹. Сегодня в нашем городе, как и во многих других региональных столицах России, как никогда ранее происходит актуализация локальной истории, ее (ре)конструирование и расширенное воспроизводство; причем интерес привлекают даже не отдельные периоды городской истории, а вся она в совокупности. Общеакадемическое и общественное увлечение локальными идентичностями и культурными практиками, в целом российской провинцией в последнее время привело к тому, что накопленный в предыдущие годы разного рода исторический нарратив о городе оказался широко востребован. Со страниц монографий и учебников эта история «двигалась»

Анатолий Сергеевич Бреславский

Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии
СО РАН, Улан-Удэ
anabres05@mail.ru

¹ Улан-Удэ — столица Республики Бурятия, Россия. Основан в 1666 г. В своих рассуждениях я буду опираться на опыт исследовательской работы в двух междисциплинарных проектах, касающихся постсоветского Улан-Удэ: «“Городские деревни”: антропология скваттерских поселений Улан-Удэ» (РГНФ, № 08-01-0476а) и «Социокультурное пространство города: границы внешние и внутренние (на примере Улан-Удэ)» (РГНФ, № 07-03-00578а).

в городские проекты культурного возрождения, историко-архитектурной реконструкции, разного рода политические и социальные программы и т.д.

В случае с постсоветским Улан-Удэ можно говорить к тому же об относительно сложившейся многослойной семантике городского пространства: в городе достаточно органично переплелись дискурсивно организованные элементы дореволюционной, советской и постсоветской реальности. Более того, символическое пространство современного Улан-Удэ, как показывают исследования, во многом воспроизводит и развивает те социальные тенденции, смыслы и представления, которые возникли еще в советский и досоветский этапы развития города [Амоголонова, Скрынникова 2009: 291; Бреславский 2009: 74–88]. Это проявляется не только в стилизации современного Улан-Удэ под «дореволюционный город», «советский город», «национальную столицу», но и в «более реальных» эффектах той структурной инерции, которую переживает современный город (городское сообщество).

Между тем достаточно очевидно и то, что «навеянный ветром перемен» интерес к городской истории вряд ли удастся надолго сохранить, если те, кто ее профессионально производит, не попытаются реализовать и представить свой продукт в качестве значимого ресурса в развитии общегуманитарного дискурса о городе и реализации современных и будущих социальных / технологических проектов городского развития. Перед отечественными историками в этом смысле возникает множество интересных и значимых задач. Одна из них, к примеру, — прояснить, как происходило формирование и развитие (того или иного) города в качестве продукта царской колонизации, эпохи империостроительства, советского социалистического проекта или современного российского федерализма. Вслед за этим, привлекая к анализу те или иные локальные случаи, можно задуматься над тем, какие результаты повлекли за собой эти исторически значимые для страны и городских сообществ политические проекты. Речь может идти о специфических и относительно универсальных социальных тенденциях, конструктах культурной памяти (коллективной, семейной, индивидуальной), метаморфозах городской идентичности, позициях тех или иных социальных групп внутри городского сообщества и т.д. Всем этим могут заняться историки, как опираясь на дисциплинарные возможности самой науки, так и используя ресурсы междисциплинарного подхода (добываясь при этом «реальной» междисциплинарности). Однако сегодня подобного рода исследовательские приоритеты в изучении городской истории по-прежнему не столь актуальны, как, к примеру, традиция краеведческого историописания, ориентированного

преимущественно на расширение источниковой базы — фактографической эмпирики.

Возвращаясь к ответу на первый вопрос, я хотел бы предложить к обсуждению два, как представляется, взаимосвязанных тезиса. Во-первых, важно отметить, что в современных отечественных исторических программах по изучению города ощущается крайняя недостаточность историцистской критики, являющейся составной частью социальных наук [Бурдые 1996: 9–15]. Это оборачивается тем, что современный (постсоветский) российский исторический дискурс о городе по-прежнему некритичен и во многом внесоциален. Иными словами, он в большинстве случаев воспроизводит сам себя, не пытаясь критически пересмотреть методологические и социально-политические основания своего возникновения и существования.

Отечественная городская история в том виде, в котором она существует сегодня, зачастую оказывается востребованной лишь на уровне самих городов и местных академических школ; эта история вызывает интерес преимущественно у муниципальной власти, действующей от имени городского сообщества. Обыкновенно она пишется и издается с ориентацией либо на муниципальный заказ, либо исходя из неких подвижнических мотивов ее автора, часто не подкрепленных каким-либо академическим и маркетинговым спросом (что называется, наивная история). Производимый исторический продукт представляет собой в этом случае преимущественно лирическое историко-краеведческое знание. Оно транслируется через «уполномоченные» институты — библиотеки, музеи, университеты, школы — для поддержания общегородской идентичности, чувства гордости и привязанности к родному городу.

Нельзя не отметить при этом, что историки города (в основном с «солидной академической пропиской») часто не реже, чем те же социологи, привлекаются к обсуждению «проблем и перспектив» городского развития. К примеру, программы городского планирования, широко внедряемые сейчас в России, и соответствующий административный дискурс, если взглянуть на них с позиции дискурс-аналитика, зачастую в большой степени интертекстуальны — содержат в себе значительные компоненты социологических и исторических нарративов. Региональные историки выступают экспертами на городских телеканалах, в проводимых мэриями конференциях, на публичных и закрытых семинарах-совещаниях, формулируя для политиков, администраторов, общественности экспертное (научное) историческое знание. Применительно к городскому сообществу это проявляется в том, что историки формулируют в его отношении такие понятия, как «исторический опыт го-

родского сообщества», «исторический контекст развития города», «исторически обусловленные проблемы города», «исторически сформированный путь развития города», «исторические задачи города», «исторические традиции города» и т.п.

Из этих понятий, имеющих в том или ином случае свои артикулированные локальные особенности, могут быть выстроены и часто выстраиваются приоритеты городской политики и их легитимация. Это может касаться программ распределения ресурсов, проектов культурного возрождения, приоритетов в развитии внутригородских территорий и многого другого. В последние годы увеличилась коммерциализация исторического знания о городе: историки привлекаются к разработке туристических брендов места, концепций городского имиджа, буклетов, путеводителей и т.п. К сожалению, далеко не всегда академические историки, решающие такого рода задачи (формирование позитивной общегородской идентичности, экспертные оценки современных проектов городского развития, участие в конструировании туристически привлекательных городских образов), ориентированы на включение своих эмпирических данных и аналитических выводов в российские и уж тем более международные проблемно-тематические традиции (допустим, изучения средневекового города, города Нового и Новейшего времени) и методологическую дискуссию (исследования восточного города, западного города, советского города, ориенталистские, постколониальные и пр.).

Второе мое замечание происходит из первого: нельзя не отметить, что в российской исторической науке до сих пор так и не состоялась сколь-нибудь значительная методологическая дискуссия о проблемах изучения города, как это, к примеру, произошло в социологии (см., например: [Российское городское пространство 2000]). На прилавках книжных магазинов практически не найти отечественных исторических работ о (том или ином) городе, которые бы опирались на эвристическую историческую методологию или «альтернативное» — «неклассическое» видение проблемного поля. В отличие от социологов, социальных (культурных) антропологов, философов, отечественные историки города по большому счету еще не сконструировали в своем исследовательском поле ситуацию методологического и предметного кризиса, довольствуясь в основном возможностями фактографического историописания и историографии. Нет уверенности, что это произойдет и в ближайшем будущем.

Оставляя в стороне традиционные «городские» исследовательские проблемы и способы их осмысления, и без того известные всем историкам, кто работает в этом предметно-дисциплинар-

ном поле, сейчас я постараюсь сфокусироваться лишь на одном вопросе, который, как представляется, способен стать ресурсом для частичного обновления отечественной исторической проблематики и методологии в области городских (и прочих) исследований. Речь о критическом дискурс-анализе (КДА) (см., к примеру: [van Dijk 2001: 352–371; Fairclough 1995]), в частности, о процессах *натурализации* понятий (представлений).

Известно, что «многие наши представления о мире натурализованы (полностью адаптированы), мы принимаем их как само собой разумеющиеся. Мы рассматриваем их *не* как *понимание мира*, а как *мир*» [Йоргенсен, Филлипс 2008: 290–291]. В этой ситуации особенно важными становятся поисковые исследования (исследовательские позиции), выявляющие эти само собой разумеющиеся «здоровые» взгляды и представления, многие из которых «укоренены» в историческом дискурсе. Это оказывается возможным за счет прояснения условий их возникновения и утверждения. В последнее время за подобного рода работу берутся в основном социологи, что само по себе, конечно, неплохо. Мне лишь кажется, что это задача не столько для них, сколько для самих историков, ведь сам процесс натурализации историчен, тот или иной дискурс, способствующий натурализации, также историчен [Fairclough, Wodak 1997: 271–280]. Дискурсивную натурализацию идей, понятий, представлений невозможно рассматривать вне исторического контекста и исторического материала.

Если мы говорим о натурализованных понятиях и представлениях, связанных с городским развитием, не стоит забывать и то, что подавляющая их часть содержится именно в исторических текстах, а не, допустим, в социологических. Реальность российских городов Средневековья, Нового и Новейшего времени вплоть до последних лет интересовала в основном историков. И кому как не историкам проводить сегодня саморефлексию — анализировать исторический дискурс о городе, самих себя и своих коллег-предшественников? Это, повторюсь, позволяет понять, на чем основывается современное знание о том или ином городе, как оно исторически (вос)производилось, (ре)конструировалось, как использовалось раньше и используется сегодня разного рода акторами — от политиков и бизнесменов до ученых и «простых» членов городского сообщества. Вместе с изучением исторической реальности в этом случае изучается и исторический дискурс, то, как конструируются сами тексты и фиксируются их значения в условиях той или иной городской (шире — региональной) культуры.

В случае если мы принимаем тезис о том, что анализ исторического дискурса о городе — дело самих историков, то на

настоящий момент актуальным представляется решение следующих четырех исследовательских вопросов (задач), связанных с денатурализацией части современных понятий и представлений и развитием историцистской критики в структуре производимого исторического знания.

1. Стоит начать, пожалуй, с актуализации казалось бы хрестоматийного, но как-то не утверждающегося у нас (в общем-то, понятно почему) понимания истории (города) как «идеологической, точнее воображаемой конструкции» [Барт 2003: 427–441], а исторического факта как явления относительного (идеологически сформулированного), связанного со стратегией интерпретации. Наиболее общий пример для демонстрации этого тезиса — проблема фиксации хронологического периода образования города как историко-культурного явления. Здесь могут столкнуться как минимум два исторических дискурса: официальный дискурс, желающий, допустим, удревнить историю поселения (связав ее с каким-либо формальным постановлением), и дискурс жителей этого поселения (взятый, к примеру, в нескольких поколениях и документально зафиксированный), указывающий на то, что городская идентичность никогда не была особенно актуальной для сообщества, а свое поселение местные жители никогда всерьез не называли «городом». Город, воображаемый официально, здесь сталкивается с городом, воображаемым на уровне повседневности, политическая история города — с историей повседневности, социальной историей.

2. Отталкиваясь от первого тезиса, можно задуматься над тем, с какого рода произведенной историей того или иного города мы имеем дело, были ли какие-то альтернативы в ее производстве, а если они имели место, то почему не возобладали. Здесь важно определить, на каких идеологических основаниях выстраивается доминирующий исторический дискурс, какими категориями он оперирует, какой опыт преимущественно фиксирует и в каких срезах (глобальном или локальном, публичном или повседневном и т.п.). Прекрасной иллюстрацией многослойности исторического знания о городе может служить сопоставление данных, зафиксированных, к примеру, в официальном историческом дискурсе и все в том же дискурсе жителей города, сформированном, допустим, из устных историй. Задача историка в этом случае не ограничена одним лишь сопоставлением и, возможно, разоблачением одного из дискурсов, она расширяется уже постольку, поскольку всякий новый дискурс отсылает исследователя в иную плоскость — к новым эмпирическим данным и смыслам.

3. Решив вторую исследовательскую проблему, можно разбиться в том, какие из социальных представлений, понятий,

связанных с городом и имеющих место в современной нам реальности, были произведены и натурализованы в доминирующем историческом дискурсе о городе. Разумеется, нет особого смысла подвергать анализу максимально возможный спектр представлений из сферы городского воображаемого. В логике критического дискурса-анализа, допустим, в фокус внимания следует включить натурализованные представления (городские мифы, идеологии и т.п.), порождающие или поддерживающие внутри городского сообщества отношения социального неравенства, дискриминации и господства одних социальных групп (альтернатива — территорий) над другими. В этом случае от исследователя, конечно, требуется глубокое знание исторического материала по тому или иному городскому кейсу и тонкое социальное чутье, способное спрогнозировать динамику потенциально неблагоприятных процессов, основанных на дискурсивной натурализации.

4. Наконец, в заключение можно охарактеризовать, к каким последствиям способны привести (привели) эти исторически натурализованные представления о городе. Это позволяет преобразовывать их в потенциальные объекты для обсуждения и критики и таким образом открывает их для возможных изменений. Идеальной представляется ситуация, когда ученый (академическое сообщество) способен мобильно разобраться в ситуации еще до проявления ее негативных последствий и провести ее публичное обсуждение с коллегами при поддержке прочих заинтересованных социальных акторов.

Анализ исторического дискурса позволяет в текстуальном измерении прояснить логику развития социокультурного и политического пространства современного города, выявить так называемый «историко-культурный контекст» современных социальных, культурных и политических процессов. Городская культура, городское сообщество, городской ландшафт — все это дискурсивно организованные элементы социальной реальности. Их конструирование и конституирование происходит при более или менее значительном участии исторического дискурса. Эффект «присутствия истории» в современных процессах дискурсивно проявляется во всем спектре текстов (конечно, в разной степени), которые производят те или иные социальные акторы. Задача историка заключается здесь, на мой взгляд, в том, чтобы определить, какие исторические нарративы и заключенные в них понятия, представления, причинно-следственные связи используются в том или ином тексте (программе развития города, рекламном щите, газетной или научно-исследовательской статье и т.д.). Вслед за этим — разобраться, не соотносится ли использование исторического знания в том или ином конкретном случае со стремлением его

натурализовать, т.е. утвердить как само собой разумеющееся, и какие последствия, символические и утилитарные, может иметь подобного рода натурализация.

Понятно, что в одних случаях натурализация истории может быть бессознательной (тогда, когда историческое знание не рефлексивируется), но очевидно, что бывают ситуации, когда включение «исторического опыта» в тот или иной социальный, культурный или политический проект осознано. Одни из этих проектов могут быть вполне безобидными, другие — производить и развивать дистанции между различными группами внутри городского сообщества (как альтернатива — между городским сообществом и деревней), производить отношения неравенства, доминирования, дискриминации и т.п. При этом в силу натурализации неких «исторических оснований» данных отношений они сами также могут казаться естественными. Задача историка в этом смысле — включиться в процесс производства экспертного знания, предотвратив негативные социальные и политические последствия использования городской истории. В случае с современной российской действительностью — высокой ангажированностью исторического знания, в том числе и городской истории, а также слабой развитостью института публичных обсуждений — решение поставленной задачи представляется действием сложным и крайне необходимым одновременно.

Библиография

- Амоглонова Д., Скрынникова Т.* Текст и контекст Улан-Удэ: сложный образ городского пространства // Россия: воображение пространства / пространство воображения (Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах. Специальный выпуск) / Отв. ред. И.И. Митин. М.: Аграф, 2009. С. 268–294.
- Барт Р.* Дискурс истории // Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: изд-во им. Сабашниковых, 2003. С. 427–441.
- Бреславский А.* Конструирование «городских окраин» в постсоветском Улан-Удэ // Палітычная сфера. Минск: Лайт-Принт, 2009. № 12. С. 74–88.
- Бурдые П.* За рационалистический историзм // Социо-Логос постмодернизма. Альманах Российско-французского центра социологических исследований Института социологии РАН. М.: Институт экспериментальной социологии, 1996. С. 9–29.
- Йоргенсен М., Филлипс Л.* Дискурс-анализ. Теория и метод: Пер. с англ. 2-е изд., испр. Харьков: Гуманитарный центр, 2008.
- Российское городское пространство: попытка осмысления / Отв. ред. В.В. Вагин; Сер. «Научные доклады». Вып. 116. М.: МОНФ, 2000.

Fairclough N. Critical discourse analysis. L.: Longman, 1995.

Fairclough N., Wodak R. Critical Discourse Analysis // van Dijk T.A. (ed.). Discourse as Social Interaction: Discourse Studies. A Multidisciplinary Introduction. Vol. 2. L.: Sage, 1997. P. 258–284.

van Dijk T. Critical Discourse Analysis // D. Tannen, D. Schiffrin, H. Hamilton (eds.). Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell, 2001. P. 352–371.

ДМИТРИЙ ГРОМОВ

1

Как и многие направления социальных наук, исследования молодежных сообществ на Западе начали развиваться значительно раньше, чем в Советском Союзе. Как нам кажется, первым отечественным исследованием, открывшим современную традицию социально-антропологического изучения молодежи, является книга В.Ф. Пирожкова «Законы преступного мира молодежи (криминальная субкультура)», написанная в конце 1970-х и изданная только в 1994 г. Еще одно издание, «основополагающее» для темы, — книга Т.Б. Щепанской «Символика молодежной субкультуры: Опыт этнографического исследования системы 1986–1989 гг.» (1993 г.). В отличие от Пирожкова, этот автор уже уверенно стоял на позициях социальной антропологии. Данная книга (с учетом ее расширенного переиздания в 2004 г.) является наиболее цитируемой работой в российских исследованиях молодежных сообществ.

Так сложилось, что, имея в виду молодежь, мы говорим исключительно о городском сообществе. Сельские молодые люди остаются на периферии внимания; русскоязычных исследований сельской молодежи (особенно выполненных в социально-антропологическом ключе) очень мало. Тому есть две причины.

Дмитрий Вячеславович Громов

Государственный республиканский центр русского фольклора / Институт этнологии и антропологии РАН, Москва
gromovdv@mail.ru

Во-первых, российское село на протяжении последних двух десятилетий — глубоко депрессивное пространство. Молодежи здесь все меньше, наиболее активная ее часть стремится перебраться в город (по данным переписи 2002 г., городское население составило 73 %, причем удельный вес молодежи в нем значительно больше, чем в сельском). Именно город становится основным местом пребывания молодежи, деревенское же воспринимается как маргинальное (причем это свойственно не только для России с ее спецификой, но и для развитых стран Запада).

Во-вторых, именно город позволяет молодежи реализоваться и выразиться, создавая широчайший спектр сообществ на любой вкус и для любых потребностей. В городской среде снижается социальный контроль над поведением детей и молодежи и одновременно значительно шире становятся возможности для выбора профессии, форм развлечений, освоения сексуального опыта и т.д. В отличие от деревни, утратившей свое культурное своеобразие, город остается (и будет оставаться, что называется, по условию) местом непрерывного развития, появления новаций и формирования традиций. Неисчерпаемый потенциал социокультурного перевоплощения и делает молодежь города благодатным объектом для научного исследования.

Несомненно, в настоящий момент исследование молодежных сообществ в России является активно развивающимся и перспективным научным направлением. Со второй половины 1980-х гг. (когда исследователи «открыли» для себя наличие молодежных сообществ и вообще бытование молодежи вне специально организованных обществом форм) по настоящее время наблюдается общее повышение качества исследований. Это обусловлено во многом накоплением исследовательского опыта и более серьезной постановкой задач. На смену констатации того, что «молодежь есть», пришло рассмотрение более конкретных аспектов деятельности молодежных сообществ: распределения статусов и властных ресурсов, выстраивания гендерной композиции, выработки способов самопрезентации, связи элементов типично молодежной деятельности с процессом социализации.

Успехи исследования молодежных сообществ в российской науке заметны еще более по сравнению с развитием этого направления в странах ближнего зарубежья. К сожалению, ни на Украине (при всей ее ориентации на европейские образцы), ни в Белоруссии нам не удалось обнаружить тенденцию к исследованиям современной молодежи.

На настоящий момент увидело свет большое количество публикаций о российской молодежи и молодежных сообществах.

Например, можно указать два сборника о молодежных субкультурах Санкт-Петербурга, подготовленных В.В. Костюшевым (1997 и 1999 гг.), издания, подготовленные Е.Л. Омельченко и т.д. Показательно, что только учебников под названием «Социология молодежи» нам известно не менее пяти.

Многие работы посвящены конкретным молодежным сообществам: скинхедам (С.В. Беликов, И.В. Костерина и др.), футбольным фанатам (А. Илле), готам (В.А. Гушин), графферам (М.Л. Лурье), панкам (О.А. Аксютин), ролевикам (А.Л. Баркова, Д.Б. Писаревская), спортсменам-«экстремалам» (В.Р. Халикова), пранкерам (М.Д. Алексеевский). К разряду исследований молодежных сообществ необходимо отнести публикации о солдатах срочной службы и курсантах (Д.Л. Агранат, К.Л. Банников, В.В. Головин, Е.В. Кулешов, М.Л. Лурье и др.). Многими исследователями уделяется внимание студенческой молодежи. Оказалось продуктивным такое направление, как исследование молодежного сленга (Ф.И. Рожанский, П. Лихолитов и др.).

Часто рассматриваются темы, связанные с делинквентным поведением молодежи, в частности с наркоманией; в этом направлении необходимо выделить публикации НИЦ «Регион», осуществленные под руководством Е.Л. Омельченко.

Одним из перспективных направлений является изучение молодежных уличных группировок — «пацанской» среды, широко распространенной в советских городах и существующей (хотя и в изменившемся виде) до сих пор. Русскоязычная библиография по этой теме составляет более 50 пунктов, назрела необходимость обобщающих работ.

Меньше, чем можно было бы ожидать, разработана тематика, связанная с молодежью советских времен, хотя материал для исследования здесь, пожалуй, даже более доступен, чем материал для исследования современности: молодежь тех лет выросла, сейчас эти люди способны к рефлексии. В этой связи вызывает интерес проект «Молодежные движения России. Молодежь СССР (1940–1980 годы)», начатый НИЦ «Регион».

Перспективными представляются исследования молодежи по региональному принципу. Особенно интересны исследования провинции, поскольку молодежь мегаполисов традиционно находится в зоне внимания исследователей, а провинция этим вниманием в значительной степени обделена. В качестве одного из отрядных исключений можно назвать Улан-Удэ, в котором сложилась традиция изучения местной молодежи (Н.А. Халудорова, А.А. Бадмаев, К.Б. Митупов, Н.И. Карбаинов, А.Ю. Буянова). На повестке дня стоит вопрос о выявлении

нии «системных» различий молодежи, проживающей на различных территориях и в разных типах населенных пунктов (мегаполисах, крупных, средних и малых городах).

В большинстве случаев исследования осуществляются относительно каких-либо конкретных групп молодежи — идеоцентрических субкультур, территориальных сообществ и др. Однако возможно структурирование материала и по другим принципам. Так, вызывает интерес книга В.И. Ильина «Быт и бытие молодежи российского мегаполиса: социальная структурная повседневность общества потребления» (2007), в которой, как следует из названия, молодежная жизнь представлена в разрезе стратегий потребления.

«Рубежным» изданием для отечественных исследований молодежи является выпущенный в 2008 г. энциклопедический словарь «Социология молодежи» (отв. ред. Ю.А. Зубок, В.И. Чупров). Данная книга содержит квинтэссенцию знаний по теме и является хорошим теоретическим подспорьем для изучения частных явлений молодежной среды. Значимость издания велика, несмотря на некоторые недоработки (например, «провисает» блок статей о неформальных объединениях молодежи).

2

Мы не сделаем открытия, если скажем, что назрела необходимость формирования интегративной науки о молодежи. Эту идею высказывал, например, философ В.В. Павловский. Однако мы не согласимся с мнением данного автора в том, что эта наука должна базироваться на философии. Несомненно, наиболее «удобной» для выработки междисциплинарного курса является социальная антропология — интегративная наука, включающая в себя элементы социологии, психологии, филологии, истории и других наук о человеке и обществе. Находясь на позициях социальной антропологии, наиболее удобно привлекать инструментарий других дисциплин для решения конкретных исследовательских задач.

И наоборот, позиционирование исследования в рамках одной из «более узких» наук приводит к тому, что различные аспекты темы упускаются из зоны внимания. Так, филологи концентрируются на текстах и не всегда уделяют должное внимание рассмотрению социально-психологического контекста. Социологи склонны проявлять невнимание ко многим частным проявлениям социальной реальности — одежде, фольклору, стереотипам поведения, ритуалам и т.д. Психологи неохотно выходят за рамки рассмотрения личностных характеристик (и напротив, личность обычно оказывается за пределами внимания не-психологов).

В качестве основного метода исследований молодежи целесообразно использовать этнографические методы.

В целом в работах о молодежи (вернее, в не лучшей их части) можно выявить определенные типические недочеты.

1. Невнимание к эмпирическому материалу, отсутствие у исследователей собственного полевого опыта. Довольно часто можно встретить тексты, при прочтении которых становится ясно, что автор, мягко говоря, не компетентен в вопросе, а тексты написаны на основе штампов и сомнительных источников (каковым, например, является «бульварная» пресса). В частности, это свойственно наукам, нацеленным на выявление наиболее общих закономерностей существования общества (философии, культурологии) и на практические задачи воспитания (педагогике).

Один из путей снижения количества фактических ошибок и вообще повышения качества исследования — работа с экспертами. Иначе говоря, представляется правомерным и полезным просмотр уже готовых текстов представителями сообществ, которые описаны в этих текстах, или же исследователями, компетентными в теме. Условия современного города предоставляют возможность новых, отличных от традиционных для этнографии отношений между исследователями и информантами. В отличие, скажем, от туземцев Новой Гвинеи и русских крестьян XIX в., многие жители современного города относятся к тому же культурному кругу, что и исследователь, они могут на равных участвовать в обсуждении темы. Опыт работы с экспертами показывает, что им удается отследить достаточно большое количество ошибок. Привлечение экспертов — гарант объективности исследования.

2. Не учитывается динамика развития сообществ. Многие из них в процессе своего бытования претерпевают серьезные изменения, их необходимо рассматривать именно в контексте этих изменений. Однако часто авторы этого не учитывают — субкультурные реалии предстают как нечто незыблемое и неизменное. Такие авторы охотно воспроизводят данные из публикаций прошлых лет, никак не адаптируя их к современности. Например, можно указать случай, когда книга о девиантном поведении молодежи, написанная на материалах конца 1980-х гг., была переиздана в начале 2000-х без какого-либо дополнительного комментария, как будто между написанием и переизданием не прошли 1990-е гг., коренным образом изменившие молодежную криминальность в России.

Динамика субкультуры не учитывается, например, в некоторых современных публикациях о скинхедах. Достигнув своего

пики в 2002 г., данное движение к настоящему времени значительно уменьшилось; специфика ультраправого молодежного дискурса заметно изменилась. Однако в публикациях об этом не говорится, и у читателя создается впечатление, что «злые скинхеды» и по сей день массово бродят по улицам. Аналогичное отставание в информации наблюдается и касаясь панков; панки 1980-х, 1990-х и 2000-х гг. значительно различаются, что зачастую совершенно не учитывается в литературе.

3. Многие публикации о молодежных сообществах направлены не столько на исследование и анализ, сколько на поиск у этих самых сообществ негативных, девиантных составляющих.

Особенно «грешат» этим педагогические издания: их авторы придерживаются традиционного подхода, согласно которому неформальные объединения молодежи — это зона риска, необходимо отворачивать молодежь и подростков от участия в этих объединениях. При таком подходе исчезает из поля зрения огромное количество материала, описания получаются, мягко говоря, однобокими. Стоит отметить, что воспитательный эффект таких работ сводится к нулю: участники молодежных сообществ, видя предвзятость и некомпетентность, не только не «перевоспитываются», но и утверждают в своей правоте.

Еще одна сфера предвзятого описания молодежи — юридические работы. Можно указать случаи, когда описание молодежных субкультур (что заявлялось в названиях работ и вступлениях) фактически сводилось к отражению криминальной деятельности их участников.

Еще одна сфера — рассмотрение молодежных сообществ в рамках политического дискурса. Политическая борьба не предполагает объективности описания молодежных сообществ, тем более если на них уже навешены ярлыки «экстремистских организаций», «штурмовых отрядов» или «проплаченного быдла».

Известны случаи, когда исследования по молодежным сообществам предвзято трансформировались на уровне редакционной подготовки. Из текста удалялись фрагменты, позитивно характеризующие представителей субкультур, и усиливались негативные оценки. Несомненно, издатели при этом руководствовались благими намерениями, но научная объективность таких изданий оказывается под сомнением. Не говорим уже о том, что тенденциозная подача информации о некоторых молодежных сообществах может вести к возникновению т.н. «моральных паник», пропаганде «экстремальных» субкультур и выведению их на деструктивные пути развития.

Нам представляется, что правомерным было бы следование принятой на Западе практике разделения антропологии как науки и социальной работы с объектами наблюдения. В целом наиболее продуктивным нам представляется «отстраненный», неидеологизированный, но при этом уважительный подход к любым молодежным сообществам как объекту научного изучения.

4. Одной из проблем российских исследований молодежи (впрочем, как и других научных направлений) является их недостаточная включенность в мировой научный контекст. Слишком мал процент ученых, свободно владеющих иностранными языками и ориентирующихся в иноязычной литературе по собственной тематике. Поэтому иногда приходится «изобретать велосипед», или, наоборот, не удастся увидеть и оценить специфику отечественного материала в сравнении с зарубежным.

Подводя итоги обзора, отметим, что исследования городской молодежи и молодежных сообществ — это перспективное и интересное направление, в котором не наблюдается «исчерпанности материала»; перед исследователем лежит огромный пласт неосвоенной информации, возникают все новые задачи и темы для исследования.

ХИЗЕР ДЕХААН

Возвращение социального: российские и советские города как вызов для западной историографии

За последние два десятилетия урбанистика заняла видное место в исторических исследованиях, посвященных России и бывшему Советскому Союзу. Не занимаясь больше модернизацией, урбанизацией, а также социально-экономическими эффектами развития (проблемы 1970-х и 1980-х гг.), урбанистика на сегодняшний день стала исследованием дискурсивных и концептуальных структур, которые формируют власть, городской опыт и субъективность человека Нового времени. Все меньше и меньше исследователей серьезно изучают социаль-

ный, институциональный или экономический базис взаимоотношений людей в городе; если же такие работы появляются, призмой, через которую их авторы рассматривают и интерпретируют человеческие взаимоотношения, нередко служит текст. Социальное стало текстовым, и исследователям городской жизни нужно точнее отличать одно от другого.

Для англоязычных исследователей России и бывшего Советского Союза на возрождение урбанистики оказало мощное воздействие совпадение обстоятельств — открытие бывших советских архивов и растущее влияние постмодернистской теории. Устремившись в региональные и провинциальные архивы, историки занялись не только новыми материалами, но и новыми подходами к изучению прошлого, выказывая беспрецедентный интерес к городскому ландшафту. Будучи некогда областью изучения историков искусства и архитектуры, городская среда привлекла внимание представителей общественных наук, которые начали рассматривать, как власть и субъективность опосредуются речью, текстом и визуальными символами. Искусство, реклама, пресса, памятники, празднества и ландшафты захватили их внимание, поскольку все эти явления обладают способностью репрезентировать субъективность, государство и общество через пространство.

Этот интерес к пространственному очевидно отражает влияние Фуко и Дерриды, чьи теории достаточно широко используют архитектурные метафоры. Подобно другим философам и представителям общественных наук, они сравнивают идеи с архитектурными объектами; однако в отличие от философов-модернистов они подают эти метафорические здания как ловушки. В то время как философы Нового времени заявляют, что их идеи покоятся на основаниях, внешних по отношению к истории или человеческому обществу, вроде «абсолютов» морали и естественного права, Деррида настаивает на том, что идеи Нового времени определяют свои собственные основания. Для него и концептуальные здания, и их фундамент являются простыми сооружениями, хрупкими и открытыми для деконструкции¹. Идя дальше, Фуко представляет концептуальные здания как угрозы, сравнивая массив знания, составленный из научных дискурсов о субъективности (медицины, психологии и криминологии) с паноптикумом Иеремии Бентама, инструментом надзора и социальной дисциплины [Foucault 1977].

Идеи Фуко и Дерриды неплохо дополняют целый ряд исследований, в которых показано, как человеческая жизнь Нового времени опосредуется текстами. Как отмечает МакЛюэн,

¹ См. блестящую интерпретацию архитектурных метафор у Дерриды: [Wigley 1993].

письменный язык делает возможным абстрактное мышление и опыт, поскольку он замещает как устную речь, так и видимые предметы абстрактной репрезентацией в форме букв и пространств. Поэтому чтение закладывает фундамент для абстрактного чувства пространства и места, не говоря уже о субъективности [McLuhan 1964; Anderson 1991; Fritzsche 1996].

В этом ключе другие мыслители и ученые-гуманитарии прослеживают то, как современные науки (картография, этнография и история), а также журналистика и литература способствуют возникновению национальных и географических идентичностей, которые являются абстрактными, понимаемыми только через репрезентации на географических картах, в литературе и через визуальных посредников [Aasen 1998; Hirsch 2005; Bennett 2005; Schwartz 1999]. В случае МакЛюэна технология печати и компьютера рассматривается как расширение воспринимающих способностей человека и, следовательно, как нечто, по сути своей, делающее возможным, потенциально создающее глобальную деревню. Другие поглядывают искоса на технологические возможности, идентифицируя абстрактные концепты места и идентичности с властью и во многих случаях с атаками на повседневную жизнь и субъективность¹.

Подобный интерес к дискурсивному опосредованию оказал влияние на «Magnetic Mountain: Stalinism as Civilization» Стивена Коткина, эпохальную работу в области советской истории. В своей книге Коткин исследует строительство Магнитогорска, заводского города, основанного на Урале во время первой пятилетки. Охватывая все 1930-е гг., книга освещает широкий круг тем, от урбанизации и городского планирования до жизни рабочего класса, официальных и подпольных рынков, а также «Великих чисток». До появления этой книги Магнитогорск не становился предметом исследования западных ученых. Между тем ни один из материалов Коткина не был столь уж новым. Скорее, известность книги проистекает из ее концептуального подхода, в особенности из-за теоретического осмысления модерности на русский лад.

Вдохновляясь представлением Фуко о дискурсивных «технологиях субъектности», Коткин подчеркивает государственную монополию на публичный дискурс, в особенности способность государства определять то, что может означать «стать советским человеком». Чтобы интегрироваться в советское общество, жить и выжить, рабочие должны были овладевать специфическими языками и практиками образцового советского рабочего, образ которого был выработан государством. Чтобы

¹ Замечательный пример этого см.: [Scott 1998].

быть большевиком, нужно было выучить соответствующий государственно насаждаемый жаргон, который Коткин окрестил «говорением по-большевистски» [Kotkin 1995: 201].

Коткин исходит из того, что Советский Союз являлся четко очерченным дискурсивным пространством, местом обитания, сконструированным на основе не только советской изоляции от мира, но и советской идеологии, в особенности советского самоопределения как социалистической страны в капиталистическом мире. Из-за неравных властных возможностей государства и его граждан государство определяло правила взаимодействия в этом пространстве, очерчивая пределы (и возможности) человеческих действий. Механизмы надзора, идеологические кампании, пресса и политический театр служили навязыванию государственных представлений о социализме и социалистическом поведении. «Маленькие тактики среды» или нарушение населением правил, навязывавшихся государством, выражались в незаконной торговле, работе спустя рукава или обитании в недозволенных пространствах. Но ни одно из этих проявлений сопротивления не выводило обычного рабочего за пределы дискурсивного пространства советской системы. В то же время некоторые элементы советской жизни (исправительные трудовые колонии, спецпоселения для раскулаченных и черный рынок) концептуально были исключены из сферы социализма.

Работа Коткина вдохновила ряд ученых и оказалась окруженной книгами, в которых исследовалась идентичность, сформированная символами и дискурсами государства. Авторы всех этих книг интересовались пространственно-символическим кодированием идеологии, субъектности, идентичности и власти¹. Демонстрируя особый интерес к опосредованной природе идентичности, Евгений Добренко в «Политэкономии соцреализма» соединил пространство реального социалистического опыта с пространством соцреализма как литературного текста и архитектурного символа. В действительности подлинно социалистическая жизнь и опыт являлись текстуализированными, сведенными к опосредованию искусством и литературой. Все, что находилось вне этого текстового аппарата, было исключено из «реального социализма» [Dobrenko 2007].

До некоторой степени работа Коткина убеждает только потому, что Магнитогорск лишен текстовой слоистости. Пространство, особенно литературное или дискурсивное, стремится к нестабильности. На самом деле, любое физическое, лите-

¹ [Dobrenko 2005; Qualls 2009; Cracraft J., Rowland 2003; Maddox 2003; Sahadeo 2007]. О конструировании нации на основе пространственных концептов см.: [Ely 2002; Schonle 2001].

ратурное, архитектурное или ментальное пространство вообще можно сравнить с палимпсестом, отмеченным наличием нескольких текстовых слоев, каждый из которых репрезентирует разные эпохи, типы опыта, идеи или концепты субъектности. Автор любого конкретного текста редко может предписать его однозначный смысл, исключив альтернативные прочтения, продиктованные другими типами опыта и другими текстами [Brown 2004; Buckler 2004].

Магнитогорск существовал в качестве островного жизненного пространства отчасти потому, что у него не было истории: он был заложен в первую пятилетку. Поэтому у него не было ничего, что могло бы соперничать с советскими дискурсами идентичности, включая рабочих, привыкших к досоветской политике в цеху, церкви и священников, служивших в течение многих лет, лавок и домов торговцев, а также исторической архитектуры. Кроме того, оставаясь в рамках своего исторического периода, Коткин не затрагивает «детерриторизованные» дискурсы, о которых пишет Юрчак. В подобных дискурсах структура сталинистского языка остается нетронутой, но при этом лишенной изначальных смыслов [Yurchak 2005].

Несмотря на эти ограничения, работа Коткина вписывается в традицию вдохновленной Марксом культурной теории, сформированной Георгом Зиммелем, Вальтером Беньямином и Ги Дебором [Benjamin 1999; Simmel 2002; DeBord 1977]. Эти три мыслителя рассматривают городской опыт как событие, отмеченное отчуждением. Все они показывают, что (городские) взаимоотношения людей в Новое время опосредованы через текст, зрелище и денежный обмен. Признавая потенциал автономии и автономного восстановления сил в рамках этого отчуждения, они также рассматривают потакание толпе и контроль над толпой, которые стали возможными благодаря фетишу потребления, по крайней мере в капиталистических обществах. Все они трактуют город как сборный пункт для чужаков, однако, в отличие от социолога Ричарда Сеннета, они не видят шансов для установления осмысленных человеческих связей в этих пространствах. Скорее они выступают против отчуждения и угрозы присвоения [Sennett 1976: 39, 47]. Считая социальную ткань разодранной модернизацией и урбанизацией, все они признают власть дискурса, денег, институций и газет в качестве инстанций, опосредующих городской опыт. Применительно к Советскому Союзу, где государство монополизировало печать, радио и образование, можно без труда превратить их писания в объяснения того, как советский контроль над языком может автоматически превращаться в контроль над человеческой субъективностью.

Как подчеркивает Анри Лефевр (еще один мыслитель-марксист), ни один из этих философов не обладает отчетливым пониманием социальной сферы как сложного, динамичного пространства, которое не может быть сведено ни к экономическим отношениям, ни к дискурсивным структурам [Lefebvre 1991]. Лишь немногие теоретики (даже среди марксистов) предлагают сложное понимание социального пространства. Марксисты слишком легко идентифицируют его как отношения производства. Например, видный марксистский теоретик Дэвид Харви блестяще описал пространство власти, однако недалеко ушел от ортодоксальной марксистской теории. Мануэл Кастеллс действительно исследует пространство сопротивления, обращая особое внимание на голоса, обладающие в обществе маргинальным статусом [Harvey 1990; Harvey 2003; Castells 1984].

Оба придерживаются требования Лефевра, чтобы ученые ставили под сомнение кантианскую тенденцию смешивать социальное и интеллектуальное пространства. Однако Анри Лефевр отстаивает совершенно новое представление о социальном пространстве, рассматривая его в качестве чего-то большего, чем порождение дискурса или любой монолитной сущности, или даже производства. Он мыслит его скорее как произведение искусства, несущее отпечаток природы, истории и человеческой деятельности.

Сходным образом Мишель де Серто указывает, что социологи должны обращать большее внимание на акт речи. Произнесенное слово мешает поиску визуальной ясности, которая отмечена властью определять, абстрагировать, придавать очертания. Фетишизация учеными визуального (включая текстовое) игнорирует слышимое, тактильное, а также стихийное или непонятное и «непредвиденное». Как и Лефевр, де Серто бросает вызов доминированию текстовой / ментальной абстракции как в повседневной жизни, так и в наших научных оценках того, как конструируются опыт и субъектность [Serreau 2002].

Для историков попытка избежать текстовой призмы оказывается немалым вызовом, поскольку большинство из них зависит до известной степени от письменных источников. В исследованиях, посвященных Советскому Союзу, сами рапорты правоохранительных органов, благодаря которым историки обнаруживают свидетельства неконформистского поведения рабочих, категоризируют действия последних как сопротивление независимо от того, рассматривали сами рабочие свои действия таким образом или нет. Документы говорят только о восприятии авторов текста, а не о том, что думали рабочие о самих себе.

Сходным образом добросовестность рабочего и его самооценка, выраженные на рабочем месте, присваивались государством, которое идентифицировало их в качестве знаков патриотизма и социалистической гордости. Историки не могут выйти за пределы этих интерпретаций, чтобы добраться до мотивов рабочих. Учитывая доминирующее положение текстовых материалов, историки просто предпочитают уравнивать жизнь и опыт с текстом и дискурсом, поскольку они являются теми посредниками, благодаря которым они работают.

Конечно, существуют исследования социальных групп и социального сопротивления, сопротивляющиеся текстовому. Дэвид Хоффманн опубликовал работу о московской урбанизации, где четко продемонстрировал жизнеспособность сельских идентичностей и жизненных практик, не говоря уже о крестьянской способности блокировать попытки государства организовать рабочее место или упорядоченный прием на работу¹. Используя подход мемуариста и антрополога, Светлана Бойм исследует в своей книге «Common Places» мир коммунальной квартиры. Она описывает ее как домашнее пространство, заваленное советскими артефактами и ханжеским китчем. В этих пространствах субъектность выстраивалась в пространстве, проявляясь через размещение вещей, которые были, тем не менее, одновременно придавлены и порождены тесной близостью, привнесенной насаждаемым коллективизмом [Dunham 1976; Hessler 2000]. Как отмечает Герасимова, устройство домашних пространств могло выражать отчетливую субъективность, т.е. личность, несмотря на отсутствие формального одобрения со стороны советских властей [Gerasimova 2002]. Советская мебель образывала подтекст, который в некоторых отношениях являлся вербальным и стихийным.

Кроме того, можно отделить социальное от текстового, исследуя то, как люди играли с дискурсивными категориями, навязанными государством. Например, Шейла Фитцпатрик отвергает представление о том, что историки могут выявить субъективности; вместо этого в своей работе она исследует то, как граждане манипулируют идентичностями, стратегически надевая и сбрасывая социальные маски [Fitzpatrick 1993; Fitzpatrick 2005]. Ее работу можно связать с исследованиями Бахтина, чья книга о Рабле посвящена феномену карнавала, опрокидывающего табу и переворачивающего все социально-политические и теологические иерархии. Карнавальное не может неизменно расстраивать дискурсы или реальность власти, но оно осмеивает их и подвергает десакрализации [Бахтин 1990]. Подобная

¹ [Hoffmann 1994]. См. также другие работы, в которых приведены свидетельства неконформистского поведения, если не идентичности: [Viola 2002; Gorsuch 2000; Husband 2000; Rossmann 2005].

манипуляция господствующими дискурсами не только свидетельствует о человеческом сопротивлении или субъективностях, находящихся одновременно внутри и вне этих дискурсов, но и позволяет историкам отделять социальную и личную жизнь от дискурсивной сферы.

Все это не говорит об отсутствии важности исследований визуального и текстового в городском опыте и советской жизни. Равным образом не говорит это и об отсутствии значимости пространственного. Это свидетельствует скорее о следующем: ученым необходимо расширять свой пространственный анализ для того, чтобы охватить социальную деятельность и социальную жизнь, которые не могут быть сведены к тексту или дискурсу. Звук, голос, действие, а также личные контакты — все это заслуживает нашего внимания, независимо от того факта, что тексты выполняют опосредующую функцию в наших исследованиях и нашей собственной жизни.

Библиография

- Baxman M.M.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990.
- Aasen C.T.* Architecture of Siam: A Cultural History Interpretation. N.Y.: Oxford University Press, 1998.
- Anderson B.R.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. L.: Verso, 1991.
- Benjamin W.* The Arcades Project / R. Tiedemann (trans.). Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999.
- Bennett T.* The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. L.: Routledge, 2005.
- Brown K.* A Biography of No Place: From Ethnic Borderland to Soviet Heartland. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.
- Buckler J.A.* Mapping St. Petersburg: Imperial Text and Cityshape. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Castells M.* The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. Berkeley: University of California Press, 1984.
- Certeau M.* The Practice of Everyday Life / Trans. Rendall S.F. Berkeley: University of California Press, 2002.
- Cracraft J., Rowland D.* (eds.). Architectures of Russian Identity: 1500 to the Present. Ithaca; L.: Cornell University Press, 2003.
- DeBord G.* Society of the Spectacle. Detroit: Black & Red, 1977.
- Dobrenko E.A.* Political Economy of Socialist Realism. New Haven: Yale University Press, 2007.
- Dobrenko E. A., Naiman E.* (eds.). The Landscape of Stalinism: The Art and Ideology of Soviet Space. Seattle: University of Washington Press, 2005.

- Dunham V.* In Stalin's Time: Middleclass Values in Soviet Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- Ely C.* This Meager Nature: Landscape and National Identity in Imperial Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2002.
- Foucault M.* Discipline and Punish: The Birth of the Prison. N.Y.: Vintage, 1977.
- Fritzsche P.* Reading Berlin 1900. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996.
- Gerasimova K.* Public Privacy in the Soviet Communal Apartment // Reid S.E., Gorsuch A. Youth in Revolutionary Russia: Enthusiasts, Bohemians, Delinquents. Bloomington: Indiana University Press, 2000.
- Crowley D., Reid S.* (eds.). Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc. N.Y.: Berg Publishers, 2002.
- Harvey D.* The Condition of Postmodernity: An Enquiry Into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell, 1990.
- Harvey D.* Paris: Capital of Modernity. L.: Routledge, 2003.
- Hessler J.* Cultured Trade: the Stalinist Turn towards Consumerism // S. Fitzpatrick (ed.). Stalinism: New Directions. L.: Routledge, 2000. P. 182–209.
- Hirsch F.* Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca: Cornell University Press, 2005.
- Hoffmann D.* Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow. Ithaca: Cornell University. Press, 1994.
- Husband W.B.* "Godless Communists": Atheism and Society in Soviet Russia, 1917–1932. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2000.
- Kotkin S.* Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1995.
- Lefebvre H.* The Production of Space. Trans. Nicholson-Smith D. Oxford: Blackwell, 1991.
- Maddox S.* "Healing the Wounds": Commemorations, Myths, and the Restoration of Leningrad's Imperial Heritage, 1941–1950: PhD Dissertation. University of Toronto, 2003.
- McLuhan M.* Understanding Media: The Extensions of Man. N.Y.: McGraw-Hill, 1964.
- Qualls K.D.* From Ruins to Reconstruction: Urban Identity in Soviet Sevastopol after World War Two. Ithaca: Cornell University Press, 2009.
- Rossmann J.* Worker Resistance Under Stalin: Class and Revolution on the Shop Floor. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005.
- Sahadeo J.* Russian Colonial Society in Tashkent: 1865–1923. Bloomington: Indiana University Press, 2007.
- Schonle A.* Garden of the Empire: Catherine's Appropriation of the Crimea // Slavic Review. 2001. Vol. 60. № 1. P. 1–23.
- Schwartz V.A.* Spectacular Realities: Early Mass Culture in Fin-de-Siècle Paris. Berkeley: University of California Press, 1999.

- Scott J.* Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press, 1998.
- Sennett R.* The Fall of Public Man. N.Y.: Vintage Books, 1976.
- Simmel G.* Metropolis and Mental Life (1903) // G. Bridge (ed.). The Blackwell City Reader. Oxford: Wiley-Blackwell, 2002. P. 11–20.
- Viola L.* (ed.) Contending with Stalinism: Soviet Power and Popular Resistance in the 1930s. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2002.
- Wigley M.* The Architecture of Deconstruction: Derrida's Haunt. Cambridge, MA The MIT Press, 1993.
- Yurchak A.* Everything Was Forever, Until It Was No More: the Last Soviet Generation. Princeton: Princeton University Press, 2005.

Перевод с англ. Аркадия Блюмбаума

МЕГАН ДИКСОН

Мое исследование, посвященное спроектированному и финансируемому китайцами району в окрестностях Санкт-Петербурга, охватывает несколько разных направлений в области городской и культурной географии, в частности изучение сетей соперничающих городов, проблематику миграции, а также вопросы привязанности к месту, которые переплетаются с первыми двумя.

Район, названный «Балтийской жемчужиной», — строительный проект на 205 га, отчасти на осушенных землях, приблизительно в 10 км от исторического центра. Как утверждается в документации компании, «Балтийская жемчужина» является на сегодняшний день самым большим совместным российско-китайским проектом, а также наиболее масштабным китайским инвестиционным проектом за границей». Генеральный план, наконец-то принятый в начале 2007 г., обещает включить более 1 млн м² жилья, 400–800 тыс. м² коммерческих помещений и офисов, парки и школы. Основным инвестором выступает Шанхайская международная инвестиционная компания (Shanghai International Investment

Company или SPC), девелоперская фирма, тесно связанная с муниципальным правительством Шанхая. По общим оценкам, инвестиции превысят 1,3 млрд долл.

Первым зданием, построенным летом 2007 г., стал роскошный деловой центр и штаб-квартира местной фирмы. В одном из двух жилых комплексов, строящихся вдоль Петергофского шоссе, с осени 2008 г. продаются квартиры; дизайн несколько напоминает стандартные высотные здания в Петербурге — многоэтажные дома с внутренним двором. Первоначально протест, имевший несколько ксенофобские обертоны, предостерегал о чужеродности китайских структур и китайского влияния для российского / советского пространства; этот протест по большей части сошел на нет перед лицом других острых конфликтов по поводу городского строительства.

Фирма «Балтийская жемчужина» выпускает глянцевого журнал, предназначенный для местного населения и потенциальных клиентов; у фирмы есть кое-какие связи в городе с несколькими тысячами китайских бизнесменов-иммигрантов, однако до сих пор непосредственное сотрудничество оставалось минимальным. С самого начала своей деятельности фирма «Балтийская жемчужина» прилагала усилия к тому, чтобы представить свое начинание как нейтральный проект по строительству жилья, вдохновленный лучшими европейскими традициями и ставящий своей целью заполнить пробел на рынке Петербурга. «Балтийская жемчужина» предлагает себя в качестве нового международного участника в определении идентичности Санкт-Петербурга и его символического ландшафта и таким образом выходит на арену борьбы наряду с коренными жителями, которые хотят, чтобы к их голосам прислушались.

В известном смысле благожелательность Петербурга к китайским инвестициям в большой «мегапроект» отражает стремление высших городских чиновников (а возможно и нынешнего премьер-министра, уроженца города) повысить статус Петербурга до уровня «мирового города» («world city»). Этот концепт впервые возник в книге Патрика Геддеса [1915]; он был подхвачен Фридманом [1986] и расширен Сассен [1991]. Изначально Геддес выделял восемь подобных больших городов; Сассен указывает на Нью-Йорк, Лондон и Токио как на «глобальные города».

Попытки выйти на глобальную экономику могут реализовываться везде; в символическом смысле любое большое поселение может стремиться соперничать с так называемыми «глобальными» или «мировыми» городами. Очевидно, что подобные устремления возникают у больших и малых городов

именно потому, что экономически и культурно какими-то своими чертами такие «глобальные» города начинают ассоциироваться с успехом в глобальной же экономике, т.е. с выгодным положением в «кругообороте аккумуляции капитала» и инвестиций [Brenner et al. 2009: 176]. Это демонстрирует основные представления о здоровье города и его устойчивом социально-экономическом развитии. Как пишут Биркиншоу и Харрис о Мумбае [2009: 4], концепт мирового города или «города мирового класса» «нормализует представление о том, что модель нелиберального городского развития является реплицируемой и устойчивой», т.е. может быть реализована где угодно.

К сожалению, идея иерархии мировых городов предполагает, что города и поселения городского типа любого размера должны «состязаться» за скудные ресурсы финансового успеха и престижа. У вас может быть сколько угодно хороших менеджеров, принимающих сколько угодно большое количество правильных решений по поводу городских служб и городской жизни, но количество мест в мировой иерархии по определению ограничено. Эта парадигма вовлекает города в состязание друг с другом за эти несколько мест, возможно ценой местных интересов.

Можно предположить, что хорошее управление и распределение городских служб требуют инвестиций, но часто они направляются не на местные нужды. Наиболее известный пример — гонка за приобретение визуальных статусных символов мирового города (высотной современной архитектуры, штаб-квартир финансовых фирм, торговых центров, ландшафтов, привлекательных для космополитической мировой элиты) [Marshall 2003]. Харви отметил «серийное воспроизводство научных парков, джентрификации, мировых торговых центров, центров культуры и развлечений, масштабных внутренних торговых центров с постмодернистски оформленными товарами и т.д.» [Harvey 2001: 359]. Эта гонка за принятыми визуальными образами может скрывать лежащие в основе экономические представления, которые подпитывают стремления элит, выступающих за подобные «мега-проекты».

Вендина [2005b] выдвигает интригующую гипотезу о том, что российские города, вовлеченные в глобальную экономику, способствуют созданию в стране политического и экономического полицентризма, работая против выстроенной Москвой «властной вертикали», через установление горизонтальных контактов друг с другом и иностранными центрами. Подобная возможность является увлекательной (в известном смысле можно говорить, что она реализуется на российско-китайской

границе, см., напр.: [Larin 2008]). Между тем следствием включения в глобальную экономику становится реполяризация многих городов. Там, где когда-то города чувствовали связь с местным населением и регионом (см., напр.: [Sassen 2002]), сегодня они ощущают зависимость от глобальной сети инвесторов и финансовых структур.

Основополагающая идея Харви ([2001], впервые опубликовано в 1989 г.) о «предпринимательских» городах остается провидческой. Он описал города, которые меняют свою деятельность с «управленческой» (т.е. главным образом нацеленной на управление распределением услуг среди граждан, перед которыми они прежде всего ответственны) на «предпринимательскую» (поиск инвестиций у местных и международных инвесторов, перед которыми они и становятся ответственными в первую очередь). Его анализ соотнесен с конфликтом между «ценностью использования» и «ценностью обмена» (см., напр.: [Logan, Molotch 1987]), где «ценность использования» подчеркивает «нужды и прерогативы повседневной жизни» [Dirlik 2005: 50] в противоположность «репрезентирующим “высокую”, глобальную точку зрения концепциям и целям [читай: экономического] прагматического использования пространства» [Dirlik 2005: 49].

Это приписывание привилегированного положения «ценности обмена» также влечет за собой все большую значимость голосов тех, кто не живет в городе, при обсуждении вопросов его преобразования: «избирательные округа», состоящие из потенциальных туристов и космополитических деловых элит, начинают обладать большим весом, чем жители «не мирового класса» (см. [Birkinshaw, Harris 2009] о том, что происходит в этом отношении в Мумбае). Городские жители, которые не обладают статусом «мирового класса», маргинализуются и исключаются из участия в разработке того, что произойдет с городом в будущем.

Недавний специальный номер «CITY» (2009) был посвящен тому, как глобальный финансовый кризис углубляет конфликт между теми, кто рассматривает города в качестве места аккумуляции капитала, и теми, кто живет в них, пользуется ими в своих повседневных практиках (см.: [Brenner et al. 2009], данное исследование основано на идеях Харви). В немалой степени разговор был вдохновлен призывом Анри Лефевра [1968] расширить «право на город». Как поясняет Перселл,

городское пространство представляют в качестве собственности, а его функцией считают способствовать экономической продуктивности. Право на город дестабилизирует этот неолиберальный ответ и предлагает отчетливо новое понимание того,

для чего предназначен город. Право на город требует, чтобы мы рассматривали город прежде всего в качестве места, в котором живут [Purcell 2008: 105; выделено автором. — М.Д.].

Чтобы определить, что в современном контексте значит «жительство», требуется найти баланс между соперничающими представлениями о городе, которых придерживаются те, кто активно живет в городе, а не просто является традиционным «местным жителем» [Purcell 2008: 101]. Кто должен определять, какие жители являются «хорошими» и «полезными» для городского развития? Кто определяет то общее видение города, вокруг которого могут объединиться и начать действовать заинтересованные люди? Как эта борьба соотносится с устойчивым представлением об «уроженце» города?

До некоторой степени мы можем увидеть параллель этому в устойчивом представлении о «петербуржце». Протесты против проектов масштабных городскихстроек в Петербурге и Москве [Argenbright 2008] показывают, что это насущная проблема и российских городов. В Петербурге идет постоянная борьба, разворачивающаяся главным образом вокруг газпромского небоскреба. Оправдают ли экономические выгоды от налогов и появления новых рабочих мест тех, кто хочет видеть проект высотки реализованным? Или вред, нанесенный праву и строительному кодексу вкупе с воздействием непрозрачности на политический процесс, перевесит любое благо [Dixon 2010]?

«Балтийская жемчужина» не стала поводом задавать подобные острые вопросы. Она расположена достаточно далеко от центра города, чтобы не затрагивать городские правила высотности, а ее проектирование и строительство, раздражая некоторых жителей, ни в малейшей степени не провоцируют аналогичный гнев. Тем не менее и в связи с «Балтийской жемчужиной» возникают вопросы относительно «права на город», прежде всего из-за того, что происходит сдвиг в том, кто определяет, что такое «хороший город» — относительно как его внешнего вида, так и культурных оснований подобных представлений.

Вероятно, если Петербург хочет быть «мировым городом» не только в финансовом, но и в культурном смысле [Ханнерц 1993], он должен найти способ интегрировать и принять новые влияния, вроде китайского участия. Рабл [2005] говорит об идее «капитала разнообразия» или умении воспользоваться трудом и навыками иммигрантов, которое в постсоветской России представляется недостаточным. (Конечно, на сегодняшний день главные мировые города и сами страдают от неспособности интегрировать присутствие и влияния новых людей.)

В работах Дорин Месси [2005; 2007] предпринята попытка найти баланс между императивным для городов требованием принять новых жителей и стремлением сохранить прочную социальную ткань, все еще определяемую такими понятиями, как «коренная» или «традиционная» городская культура. Например, иммигрантов и политически бесправных «коренных жителей» может равным образом интересовать, как они могут пользоваться городом, однако иные причины могут им помешать объединиться вокруг общего представления о городе и выступить против идеологии меркантильного использования городских пространств, которая маргинализует обе группы как не принадлежащие к «мировому классу».

В недавней работе Вендиной [2005a] показано, что это актуально в российском контексте. Ее исследование влияния негативных последствий депрессивной экономической ситуации на отношение к другим (даже в традиционных московских анклавах) показывает, что новое пространственное распределение жителей вместе с тенденцией к дистанцированию от прежде «смешанных» советских жилых кварталов сведут на нет интеграцию новых мигрантов.

Дятлов [2000; 2004] посвящает свои работы распространенным предрассудкам против мигрантов с Кавказа, сравнивая их с предрассудками против увеличения числа китайских мигрантов, спровоцированного новой волной китайской эмиграции, начавшейся в конце 1980-х гг.

С «Балтийской жемчужиной» этот последний клубок проблем связан занятным образом. Проект предусматривает прибытие китайских «иммигрантов» в город, одновременно с этим он воплощает стремление китайской элиты влиять на формирование ландшафтов мировых городов. По общим оценкам, в Москве живут около 80 тыс. китайцев, а вот Петербург еще не столкнулся с этой проблемой (отчасти благодаря иммиграционной политике и ограничениям на проживание). Несколько тысяч китайских студентов учатся в высших учебных заведениях Петербурга; в городе живут также около тысячи китайских бизнесменов и членов их семей. Они занимаются всем — от центров по импорту стройматериалов и тканей до ресторанов [ПМА, 2007]. Кроме того, в городе имеются и неквалифицированные трудовые мигранты (по крайней мере, несколько тысяч были привезены самой «Балтийской жемчужиной»; они живут на объекте или по соседству).

Между тем «Балтийская жемчужина», несмотря на протесты в блогах, не является типичным «Чайнатауном». Это не случай жилого района, предназначенного для привлечения и проживания китайских специалистов в качестве способа поддержки

местной экономики. Задача «Балтийской жемчужины» заключается в том, чтобы представить новую модель жилья для богатых в Петербурге. Экономическая окупаемость проекта остается под вопросом из-за воздействия глобального финансового кризиса на местный рынок, но возможный успех проекта окажется сигналом участия не-россиян (и не-европейцев) в определении качества жизни в северной столице России.

Публичное пространство оказывается на пересечении нескольких описанных выше проблем, особенно в плане политических прав лиц, лишенных собственности или места жительства, иммигрантов или людей, находящихся в экономически неблагоприятных обстоятельствах.

В хабермасовском понимании публичного пространства доминирующим оказывается представление о нем как о месте публичного дискурса критического разума. Этот дискурс характеризуется включенностью и универсальностью. Утрата публичного пространства, таким образом, оказывается угрозой открытым обществам. Тем не менее многие отмечают, что «пространством репрезентации», о котором говорил Хабермас, являются кафе XVIII столетия (см., напр.: [Mitchell 2003: 34]), а не огромные площади, которые часто именуют «публичными». В конце концов, мы можем различать «публичное» пространство, которое выражает идею государства на основе консенсуса и его символы, и «публичное» пространство, которое делает возможным выражение «воли народа», т.е. «публичное пространство» как политическое несогласие и полемику. То же самое различие, вероятно, является необходимым в публичных пространствах, которые должны выполнять другую функцию — выстраивать связи между радикально несходными людьми.

Требование предоставить публичное пространство находит отчетливый отзвук у строителей в России. Спровоцировавший горячие дебаты «Охта-центр», например, предназначен для того, чтобы предоставить офисные помещения нескольким тысячам сотрудников корпорации «Газпром». Как и «Балтийская жемчужина», «Охта-центр» воплощает отчетливо глобальную эстетику. Стремясь, по всей видимости, смягчить угрозу для линии горизонта Петербурга, которую представляют 300 м будущего газпромовского здания, корпорация подчеркивает в своих рекламных текстах, что проект предоставит публичное или полупубличное пространство. Авторы рекламы для туристов и живущих в Питере иностранцев пытаются убедить нас в том, что небоскреб будет включать «трехсотметровую, доступную для всех смотровую площадку, кафе и рестораны для жителей города, действующий круглый год каток, самый боль-

шой в Европе музей современного искусства, а также парки отдыха в традициях петербургской архитектуры» [Pulse. 2008. 19 июня].

Когда Шанхайский инвестиционный консорциум пришел в Петербург с намерением построить многофункциональный микрорайон (с жильем, коммерческими площадями и пространством для отдыха и развлечений), он хотел представить свой проект так, чтобы он был понятен как петербургской администрации, так и населению, а также высказать свое представление о китайском участии в формировании новой глобальной культуры. Поэтому в структуре «Балтийской жемчужины» есть элементы, которые учитывают пространственно-формальный язык петербургской традиции (дворы), а также элементы, которые воплощают концепты городской культуры, используемые в Шанхае и Пекине. Большая «публичная площадь» на южной оконечности репрезентирует «государственно-ориентированное» публичное пространство.

Для сравнения с «Балтийской жемчужиной» источник в Шанхае [ПМА, 2008] указал на проект рядом с университетом Тонгжи, реализованный той же корпорацией (СИИС), которая занимается петербургским проектом (фирма с гордостью упоминает российский проект на своем сайте). Расположенный в центральной части северного Шанхая рядом с университетом Тонгжи и другими новыми постройками, ХайШанхай демонстрирует инновационные элементы публичного пространства: причудливые произведения искусства (например, статуя мужчины с фотоаппаратом), разнообразные фактуры в оформлении зданий и художественно выполненные места для сидения. Кафе «Старбакс» сигнализирует об участии проекта в глобальной городской жизни.

На странице, описывающей ХайШанхай на сайте Шанхайской международной инвестиционной компании, о месте говорится как о «творческой коммерческой улице», «открытом пространстве, пробуждающем бесконечные ресурсы воображения у творческих людей» <www.siic.com>. Особый упор сделан на «публичности», понятой как деловые, глобальные связи и технические инновации. Камерные публичные пространства между зданиями вместе с театром и лекционным залом должны напомнить об этой креативности и синергетическом характере взаимоотношений между творческими людьми, который порождает все новые и новые типы инновационной деятельности. Это публичное пространство предназначено прежде всего для групп, имеющих социально-каталитическую функцию [Hannerz 1993], а не для выстраивания широких социальных связей: на сайте указано, что этот проект «приносит

в Шанхай особую моду и собирает людей с мощным воображением и большими целями».

Джинвай СОХО в центральном деловом районе Пекина дает пример еще одного поразительного сравнения. В этом популярном месте, расположенном внутри Третьей кольцевой дороги, жилые дома-башни окружают открытые пространства с магазинчиками и зелеными насаждениями. Настойчивое визуальное присутствие рекламных изображений и вывесок, типичное для проектов СОХО, отделяет этот район на миллиарды световых лет от переполненных людьми публичных пространств традиционных китайских улиц, которые раньше существовали недалеко от этого места. Район далеко отстоит от идеализированного публичного пространства, воплощенного в традиционных городских структурах, порождающих тесные контакты между жителями, между тем он предлагает отчетливое представление о месте встреч и контактов между людьми. Сайт СОХО заявляет, что

на Летнем карнавале в Джинвай СОХО, который происходит каждый год в течение четырех месяцев, звезды эстрады, поэты, художники и писатели устраивают концерты, поэтические чтения, уличные выставки и тематические салоны для людей, приезжающих в больших количествах со всего города <www.sohochina.com/en>.

У застройщика, очевидно, была мысль о том, что пространство должно иметь «публичный» характер; содержание этой «публичности» является культурным, когда музыка, поэзия, литература рассматриваются в качестве объединяющего форума, где люди могут вступать в контакты друг с другом и формировать новые связи. Таким образом, хотя архитектурный сдвиг на уровне форм изгоняет прежних жителей и их практики из публичной жизни, в СОХО мы видим формирование другого типа «публичности»: «Джинвай СОХО принес не только новый стиль жилья, но и новый образ жизни».

«Балтийская жемчужина» использует сходный язык для описания того, что даст новый район Петербургу. Сайт констатирует:

Мы хотим не просто построить универсальный район европейского стиля с развитой инфраструктурой и обслуживанием европейского качества, но создать новый образ жизни <www.baltic-pearl.com>.

Пекинско-шанхайские проекты, которые могут оказать влияние на «Балтийскую жемчужину», отмечены представлением о «публичности», необходимым компонентом которой являются комфорт и потребительские удобства. Подобное пред-

ставление есть и в рекламе «Газпрома». Могут ли сторонники иного, более политического и социального понимания публичного пространства повлиять на распространение этого концепта в российском или китайском контекстах, остается острым и открытым вопросом.

Уотсон [2006] указывает, что «глобализированное пространство» не способствует выстраиванию того, что мы можем считать публичным, поскольку, как отмечает Маршалл [2003], оно скорее поддерживает создание ландшафтов и условий комфорта, которые служат особому однородному классу богатых людей, причастных глобальному миру. «Глобальные» пространства, о которых здесь идет речь, учитывают необходимость «публичности» (что само по себе интригующе). Однако не ясно, предоставят ли они возможность публичного обсуждения или выстраивания подлинных социальных связей (см.: [Макарова 2007] о позитивных смыслах этих возможностей).

Проект «Балтийская жемчужина» станет проверкой этих идей. Проект может оказаться удачей, предоставив общую площадку, где состоятельные русские и китайцы окажутся бок о бок и лучше узнают друг друга (хотя до сих пор неясно, будут ли здесь жить китайцы). Сама его новизна может заблокировать развитие спонтанной социальной и политической мобилизации, поскольку знание исторических традиций открывает пространство, свободное от значений, навязанных государством и коммерцией [Scott 1998].

«Балтийская жемчужина» — новое для Петербурга явление, которое может предложить современные возможности дизайна, планирования и выстраивания культурных связей. Но проблема заключается в том, что проект все еще оказывается во власти «глобального» гибридного видения, которое стремится подчинить себе разнообразие городской повседневности. Фирма «Балтийская жемчужина», вероятно, заменит повседневное взаимодействие китайских мигрантов и живущих в городе россиян интервенцией, поддержанной государством, и, конечно, не будет способствовать росту местных оппозиционных политических настроений с целью добиться от городской администрации большей прозрачности. Обнаружение состоятельных импульсов в проекте «Балтийской жемчужины» и других городских мега-проектах не уничтожает того очарования, которое вызывают в нас эти глобальные силы. В наших исследованиях в первую очередь необходимо уделять внимание альтернативным представлениям о городе и их актуализации (вроде символа веры петербургского неправительственного Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей — ЭКОМ). Эта организация, например, предлагает в ка-

честве мотивирующего принципа «экологическое отношение к жизни и городу», отвергая в качестве приоритетов туризм и в особенности экономику.

В какой-то момент мы поняли про себя, что мы — экои́сты. Экоизм — это когда человек хочет жить в благоприятной для СЕБЯ среде, невзирая на «государственные интересы» развития экономики, игнорируя то, что «прогресс не остановить», не принимая на веру Безусловную Необходимость постройки новых заводов, дорог и пр. Главный лозунг экоизма: «Что хорошо для Природы — хорошо для меня!» <www.ecom-info.spb.ru/about/>.

Список сокращений

ПМА — Полевые материалы автора

Библиография

Вендина О. Мигранты в Москве: грозит ли российской столице этническая сегрегация? // Миграционная ситуация в регионах России. Вып. 3 / Общ. ред. Ж. Зайончковской. М.: Центр миграционных исследований, 2005а.

Вендина, О. Перспективы полицентричного развития пространства России в контексте глобализации // Россия и ее регионы в XX веке. Территория — расселение — миграции / О. Глезер, П. Полян (ред.) М.: О.Г.И., 2005б. С. 307–333.

Дятлов В.И. Современные торговые меньшинства: фактор стабильности или конфликта? (Китайцы и кавказцы в Иркутске). М.: Наталис, 2000.

Дятлов В.И. «Новые диаспоры» и проблема интеграции внешних мигрантов в принимающее общество // «Мост через Амур». Внешние миграции и мигранты в Сибири и на Дальнем Востоке / Под. ред. В.И. Дятлова. М.; Иркутск: Наталис, 2004. С. 62–74.

Argenbright R. Avtomobilshchina: Driven to the Brink in Moscow // Urban Geography. 2008. Vol. 29. № 7. P. 683–704.

Birkinshaw M., Harris V. The Right to the «World Class City»? City Visions and Evictions in Mumbai // The Urban Reinventors Online Journal. 2009. Vol. 3. P. 1–23. <Urbanreinventors.net>.

Brenner N., Marcuse P., Meyer M. Cities for People, not for Profit. Introduction // CITY. 2009. Vol. 13. № 2/3. P. 176–184.

Dirlík A. Architectures of Global Modernity, Colonialism, and Places // Modern Chinese Literature and Culture. 2005. 17. P. 33–61.

Dixon M. Gazprom vs. the Skyline: Spatial Displacement and Social Contention in St.Petersburg // International Journal of Urban and Regional Research. Online December 2009.

Friedmann J. The World City Hypothesis // Development and Change. 1986. Vol. 17. № 1. P. 69–84.

- Geddes P.* Cities in evolution. L.: Benn, 1915.
- Hannerz U.* The Cultural Role of World Cities // Humanising the City? Social Contexts of Urban Life at the Turn of the Millennium. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1993. P. 67–84.
- Harvey D.* From Managerialism to Entrepreneurialism: the Transformation in Urban Governance in Late Capitalism // Spaces of Capital: Towards a Critical Geography. N.Y.: Routledge, 2001. P. 345–368.
- Larin V.* Interregional Cooperation between Russia and China at the Beginning of the 21st century: Experience, Problems, Prospects // Far Eastern Affairs. 2008. 2.36. P. 1–17.
- Lefebvre H.* Le Droit à la ville. P.: Anthropos, 1968.
- Logan J.R., Molotch H.L.* Urban Fortunes: the Political Economy of Place. Berkeley: University of California Press, 1987.
- Makarova E.* The Changing Boundaries of Public and Private: Urban Space and Urban Culture in Moscow (in Russian) // Project Russia: Journal on Russian Architecture and Design. 2007. 43.
- Marshall R.* Emerging Urbanity: Global Urban Projects in the Asia Pacific Rim. N.Y.: Spon Press, 2003.
- Massey D.* For Space. L.: Sage, 2005.
- Massey D.* World City. Cambridge: Polity Press, 2007.
- Mitchell D.* The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space. L.: Guilford Press, 2003.
- Purcell M.* Recapturing Democracy: Neoliberalization and the Struggle for Alternative Urban Futures. N.Y.; L.: Routledge, 2008.
- Ruble B.* Creating Diversity Capital: Transnational Migrants in Montreal, Washington, and Kyiv. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 2005.
- Sassen S.* The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University Press, 1991.
- Sassen S.* Introduction. Locating Cities on Global Circuits // Sassen S. (ed.) Global Networks, Linked Cities. N.Y.; L.: Routledge, 2002. P. 1–36.
- Scott J.* Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven; L.: Yale University Press, 1998.
- Watson S.* City Publics: the (Dis)enchantments of Urban Encounters. L.: Routledge, 2006.

Перевод с англ. Аркадия Блюмбаума

НАТАЛЬЯ КОСМАРСКАЯ

Сразу признаюсь, что сравнительно недавно начала заниматься городскими исследованиями, что, видимо, характерно и для других российских ученых, обративших внимание на данную проблематику. Впрочем, если говорить об антропологии города, она и на Западе относительно поздно заявила о себе в качестве особой дисциплины; «антропологи появились на этой сцене в 1950-е гг., двигаясь за своими информантами, перемещающимися [из сельской местности] в города» [Alexander, Buchli 2007: 10]. Сета М. Лоу, (со)автор и (со)редактор ряда крупных монографий, опубликовала свой содержательный обзор состояния дел много позже, в 1996 г., но все же сочла нужным начать его с постановки следующих вопросов. Почему городские сюжеты не подверглись в достаточной степени теоретическому осмыслению (are undertheorized) в антропологии? Почему голос антропологов слабо слышен в дискуссиях о городской политике и городских исследованиях как таковых? [Low 1996: 383].

Несмотря на эту озабоченность, объем сделанного, хотя бы с количественной точки зрения, впечатляет: обзор основан на анализе 254 англоязычных работ по антропологии города, вышедших за короткий промежуток времени — с 1989 г. по 1996 г. А после появления статьи С.М. Лоу на Западе увидело свет еще множество разнообразных «городских» публикаций. В какой же мере все это богатство идей и эмпирики может помочь нам при осмыслении процессов, характерных для городов бывшего СССР?

Задавая себе этот вполне закономерный для российского ученого-гуманитария вопрос, я вынуждена занять позицию сдержанного скептицизма.

Попробую пояснить свою мысль. В течение многих лет, начиная с 1992 г., я занималась

изучением различных проявлений и роли «этнического» в жизни людей постсоветской эпохи, соотношением этничности с другими факторами социального размежевания. Понятно, что тогда, в период становления новых независимых государств как «национализирующихся» (термин Роджерса Брубейкера) (на макроуровне) и резкого всплеска интереса к этничности (на низовом уровне), одной из самых актуальных проблем стало радикальное перераспределение статусных позиций между титульным и русскоязычным населением. Последствия этих масштабных сдвигов на уровне обыденного восприятия я и изучала (качественными методами социологии) на примере одной из стран Центральной Азии — Киргизии. Главной моей «производственной площадкой» был столичный город Бишкек, но тогда он служил не более чем фоном. Лишь много позднее, когда, закончив свое главное исследование и выпустив книгу, я начала задумываться о новых рубежах, желание «покрутить в руках» многие оставшиеся без ответа вопросы привело меня к пониманию важности «пространственного измерения» идентичности, этнокультурных границ, контактов и конфликтов¹.

В чем проявляется воздействие городских трансформаций на самоощущение человека в городе; какие точки на карте последнего чаще становятся тем, что Марк Оже называл «местами, формирующими идентичность» (*anthropological places*) (цит. по: [Dürr 2002: 209])? Как различными этнокультурными и социальными группами воспринимаются топонимические нововведения и иные признаки переформатирования символического пространства города? В какой мере циркулирующие на микроуровне образы города преемственны или, напротив, конкурируют с образами, вынесенными из прошлого; способствуют ли они общественной консолидации или, напротив, росту социальной и / или этнической напряженности? Как переживают символические и «физические» изменения городской среды люди с разным урбанистическим опытом и стажем: старожилы, с одной стороны, и мигранты разных по происхождению и масштабности волн — с другой? По каким причинам отдельные объекты городской среды (*places*) или части городского пространства (*spaces*) становятся предметом конкурирующих притязаний различных этнокультурных, религиозных и иных сообществ или групп активистов разного уровня

¹ Обсуждение этих проблем с коллегами-социологами, имеющими опыт работы в Центральной Азии, привело к «запуску» нового международного научного проекта под названием «Идентичность и этнокультурные границы в городах постсоветской Центральной Азии (на примере Бишкека, Каракола, Ташкента и Ферганы)», который осуществляется методами качественной социологии при поддержке фонда Leverhulme Trust (Великобритания, 2007–2011). В проекте участвуют, кроме автора, Мойя Флинн (университет Глазго), Гюзель Сабилова (НИЦ «Регион», Ульяновск) и Артем Космарский (ИСАА при МГУ, Москва). В данном тексте используются собранные в ходе этого проекта эмпирические материалы, но ответственность за выводы целиком ложится на автора.

(например, жителей двора)? Какими инструментами они пользуются для реализации своих претензий? Перечисленным список далеко не исчерпывается... Казалось бы, все эти значимые вопросы вполне «интернациональны», а потому имеющиеся в мировой литературе примеры их научной интерпретации вполне можно использовать при изучении постсоветских реалий. Однако тут возникают разные «но»...

Дело в том, что жизнь городов на пространстве бывшего СССР развивалась под воздействием двух важнейших факторов, нетипичных для городов Запада того периода, когда они стали активно изучаться антропологами. Значимость первого из них не требует пространных комментариев — это не имеющие аналога на Западе мощные трансформации «бытия» и «сознания», вызванные распадом СССР. Другой не столь системообразующий; он не касается общественного организма в целом, но серьезно влияет на облик городов и складывающуюся в них социально-психологическую атмосферу.

Речь идет о внутренних (сельско-городских) миграциях позднесоветского и постсоветского времени, которые заметно активизировались во многих новых независимых государствах из-за экономического хаоса, серьезно затронувшего мучительно реформируемое сельское хозяйство (в Центральной Азии росту территориальной мобильности сельской молодежи способствовали еще и высокий уровень рождаемости в сочетании с дефицитом земель). Что касается России, то мощнейший наплыв сельчан в города был характерен здесь для периодов индустриализации и послевоенного восстановления экономики, но и сейчас этот фактор нельзя сбрасывать со счетов, особенно в депрессивных субъектах федерации (см., напр.: [Manzanova 2007]). А вот городская стабильность западных стран (в первую очередь европейских) начиная с интересующего нас послевоенного периода подвергается испытанию на прочность внешними трудовыми миграциями из так называемого третьего мира (по линии Юг-Север), которые принесли в города множество людей не просто иной культуры, но других по своей расовой, этнической и конфессиональной принадлежности.

Это отразилось и на тематике академических исследований. Тема иммиграции со всеми ее многочисленными ответвлениями в другие -ации: интеграцию, ассимиляцию, адаптацию, изоляцию (гастарбайтеров, беженцев и др.) — настолько важна для западных обществ, что ей посвящены буквально тысячи работ. Однако значимость ее выходит за пределы собственно урбанизма, поэтому публикаций, в которых жизнь различных групп иммигрантов рассматривалась бы с позиций антропологии (социологии) города и пространства, очень мало (по край-

ней мере, у меня сложилось такое впечатление). Еще меньше тех, где в городской контекст «вписаны» не иммигранты-иностранцы, а группы, являющиеся внутренними мигрантами или приехавшие столь давно, что они уже считают себя старожилами. Да и само понятие старожила для западного городского контекста, в отличие от постсоветского, не очень актуально, хотя бы из-за своей «размытости». В условиях, когда внешняя миграция продолжается непрерывно на протяжении многих десятилетий, без четкой локализации «волн» по времени, этому постоянно пополняемому слою городского населения было трудно откristаллизоваться именно как старожильческому, со своей особой культурой и отношением к «своему» городу. Зато гораздо более жесткую структурирующую роль стали там играть иные социальные критерии. В этой связи я бы хотела обратить внимание на проблему этнических границ и этнического размежевания в западных и постсоветских социумах (в приложении к городским сообществам).

В России, получившей от прежней эпохи концептуальное наследство в виде примордиализма (эти традиции преодолеваются, как известно, с большим трудом), все же регулярно предпринимаются попытки изучить положение приезжих различных «паспортных» национальностей (скажем, тех же азербайджанцев или армян) без «этнических очков» (например, без *априорного* видения их этнической идентичности как главного фактора, определяющего их взгляды и мотивы поведения, а самих этих людей как сообществ, жестко спаянных «кровным» происхождением). Возможно, нам облегчает задачу то обстоятельство, что в российских городах по разным причинам пока не сложилась практика компактного проживания приезжих (по образцу «чайна-таунов» или «маленьких Стамбулов»¹).

Проводя свои исследования, я также пришла к выводу, что постсоветские страны, привычно называемые в России этноцентристскими или «национализирующимися», на низовом уровне представляют собой сложную мозаику подвижных социальных коалиций и привязанностей [Космарская 2006; 2009]. Как я пыталась показать на примере Киргизии, в основе их лежит фактор не этничности, а социально-статусных различий («бедные» — «богатые», «начальство» — «простые люди» и т.д.), политико-идеологических и культурных (городские старожилы разных национальностей против сельских мигрантов-киргизов).

¹ Так называют, например, Кройцберг — район Берлина, где уже несколько десятилетий компактно селятся турки; не выходя за его пределы и не зная ни слова по-немецки, человек может удовлетворить там все свои запросы, от бытовых и профессиональных до культурных и религиозных.

Что же касается западных работ, то, несмотря на «полную и окончательную победу» там конструктивизма (как мы все привыкли думать), все связанное с этничностью и миграцией «тематическое поле» им не покрывается. Исторически сложилось так, что в западных работах по антропологии города доминируют те, что созданы на американском материале¹ и навеяны жестко сегрегированной по социально-расовому признаку структурой расселения в городах США: анализу негритянских гетто и даже гипер-гетто посвящено немало разного рода публикаций. Раса выступает важнейшим признаком, влекущим за собой и иные формы различий, в том числе закрепленных территориально. Эта традиция изучения городов как сообществ, разделенных практически совпадающими этническими (расовыми), социальными и пространственными границами (*spatial boundaries*), была, как мне представляется, перенесена с афроамериканцев на другие проживающие там группы².

Подобную логику трудно приложить к происходящему в постсоветских городах. А вот попытки западных ученых (пока очень редкие) обратиться к изучению именно «наших» городов дают, на мой взгляд, картину достаточно реалистичную, но все же сильно упрощенную. В частности, авторы коллективной монографии «Городская жизнь в постсоветской Азии», посвященной изменениям в Ташкенте, Алма-Ате, Астане и Улан-Удэ, важнейшим (и сугубо негативным) фактором, определяющим вектор их развития после 1991 г., считают последствия наплыва сельских мигрантов (*ruralization*), приносящих в города свои привычки, потребительские практики и т.п. [Alexander, Buchli 2007: 2, 8, 29–30].

Наблюдение верное, но это лишь верхушка айсберга. Обращусь к собственным полевым материалам³. Пример Бишкека, который с конца 1980-х гг. пытается «переварить» уже третью волну внутренней миграции, показывает «борьбу за город» как очень сложный, многоплановый процесс, где межэтническое взаи-

¹ Это хорошо видно по публикациям, использованным в вышеупомянутом обзоре С.М. Лоу.

² Например, Эвелина Дюр анализирует, с помощью каких стратегий три различные группы, со своей средой обитания, социальным статусом и культурой — индейцы, потомки испаноязычных переселенцев и англосаксы — оспаривают друг у друга права на символически значимую и привлекательную для туристов историческую часть города Альбукерк (США, штат Нью-Мексико) [Dürr 2002]. В статье Эмануэлы Гуано также присутствует «оспариваемое пространство» (*contested space*) в одном из кварталов Буэнос-Айреса. В работе, написанной от лица принадлежащих к среднему классу аргентинцев итальянского происхождения, показывается их противодействие наплыву темнокожих бедняков из соседних стран Латинской Америки, компактно поселившихся буквально под боком и бросающих своим присутствием вызов не только образу жизни старожилов квартала, но и их культурному наследию в виде настенных росписей и барельефов [Guano 2003].

³ Интервью со старожилами Бишкека разных национальностей, проведенные осенью 2008 г.

модействие отходит далеко на задний план, а противостояние приезжих сельчан и старожилов скрывает целый клубок противоречий городского развития в постсоветский период, а также общесистемные трудности реформирования прежнего социального организма (окрашенные, естественно, спецификой той или иной страны).

В глазах старожилов уже весь город, а не его отдельные части, превратился под натиском приезжих в огромное оспариваемое, а скорее даже «избегаемое пространство» (*Маргиналы стали господствовать, теперь нам надо только в своем уголке, там где живем, чтобы было тихо-мирно, и где работаем...*). Но что скрывается за тем, что на первый взгляд выглядит столкновением городского и сельского образа жизни? Негативизм киргизов-старожилов во многом вызван тем, что после «революционной» смены в 2005 г. «северного» президента на «южного» усилился приток в город «южан», живущих бок о бок с узбеками и сильно отличающихся от обрусевших киргизов севера своим менталитетом. Но и это не главное. В антимигрантском дискурсе фигура ненавистного сельчанина (кстати, далеко не все приезжие — «южане» и / или неотесанные сельчане) на самом деле становится удобным «козлом отпущения», на которого «списывают» все трудности современной жизни.

Стенания по поводу «бескультурья» мигрантов (вот откуда «заплеванные лестницы», «ободранные скамейки», «перевернутые урны» и все то, чего не было «в нашем прекрасном Фрунзе») скрывают общее падение культурного уровня населения в условиях деградации образовательных систем и вынужденной смены людьми жизненных приоритетов:

Вот я иду по улице и вижу мужчин с отсутствием интеллекта на лице, с пузырящимися на коленях спортивными штанами... Да, плохо, но если ты вынужден с дипломом на рынке торговать, ты же не пойдешь туда в костюме с галстуком...

Демонстрируемый же старожилами эскапизм и жалобы на то, что «все мигранты — мелкие преступники», являются, по сути, претензиями к государству, не способному так отрегулировать развитие «дикого» рынка, чтобы он обеспечивал людей минимальными средствами выживания не только в крупных городах, но и в провинции.

В нашем случае правильнее говорить не о «рурализации» городов, а о более широком процессе — их стихийной, «низовой» демодернизации. И тут нельзя не упомянуть, хотя бы кратко, о мощно звучащей в рассказах информантов теме «советского

прошлого»¹. Неизбежные в описанных условиях изъяны в облике городов, потери в уровне их благоустройства; обеднение досугового репертуара, трудности следования прежним паттернам бытовой культуры вызывают дружную ностальгию старожилов (и киргизов, и «русских») по «советскому», которое выступает в нескольких ипостасях.

С одной стороны, это апелляции к советской городской эстетике, опирающейся на идеологию и потребительские практики того времени (*Тогда мы были пионеры, с этим [поведением на улицах. — Н.К.] было строго. Ну чем особенно было мусорить? Жвачек же тогда не продавали...*). Видимо, не случайно новый мэр Бишкека, рьяно взявшийся за обустройство города, выбрал в качестве визуального «модельного ряда» открытки Фрунзе 1970-х гг. В то же время «советское» выступает и как синоним норм и правил наднационального индустриально-урбанистического «порядка».

Еще одна актуальная проблема постсоветских исследований города, которую я хотела бы здесь затронуть, связана с общественной реакцией на разнообразные проявления ресимволизации городской среды — неизбежное следствие смены исторических и политических ориентиров властями «национализирующихся» государств. Имеются в виду масштабные переименования улиц, площадей, а иногда и самих городов, а также снос памятников, идеологически нагруженных зданий и пр., нередко сопровождающийся возведением новых «символических маяков», более отвечающих духу эпохи перемен.

Борьба за название или памятник — это борьба за то, кому «принадлежит» город или его части; позиция горожан, если она в чем-то проявляется, демонстрирует их отношение к государству; показывает, в какой степени жители района, улицы и пр. считают их своим личным пространством, в рамках которого они могут действовать как активные социальные акторы. В постсоветских условиях в этой чувствительной сфере следовало бы ожидать также резкого расхождения позиций титульного и «русского» населения. Однако подобная схема, судя по всему, не работает — не проявляется (активность), не расходятся (позиции)...

Мне могут возразить: а как же перенос «Бронзового солдата» в Таллине в апреле 2007 г. и последовавшие массовые волне-

¹ Частота референций респондентов к советскому прошлому во второй половине 2000-х гг. по сравнению с первым десятилетием после распада СССР, когда это было весьма редким явлением (сужу по своему полевому опыту), сама по себе заслуживает исследовательского внимания. К сожалению, предоставленное мне журнальное пространство не позволяет остановиться на этом подробнее.

ния, показавшие всему миру, сколь далеко может зайти противостояние между эстонским и неэстонским населением страны? Однако эти действительно драматические события (и подобные им менее громкие, но также касающиеся судьбы воинских мемориалов) «выпадают» из нашей темы, поскольку они слабо связаны с символическим обликом собственно города и «вписаны» в «большие нарративы» — в данном случае, интерпретирующие историю Второй мировой войны (см., напр.: [Полещук 2009]).

Если же говорить о более массовидных и рутинных изменениях городской среды с политической подоплекой, то эта тема изучалась в постсоветском и постсоциалистическом контексте в основном на макроуровне (см., напр., работы, посвященные тому, как поиски элитами новой национальной идентичности перекраивают символическое пространство города: [Михалев 2009; Bell 1999; Vukov, Toncheva 2006]). При всех их достоинствах, они являются взглядом «сверху» и потому практически не учитывают то, что думают по поводу всех наступивших и грядущих изменений обычные люди, как они к ним адаптируются.

Еще больше текстов (обычно публицистических), транслирующих точку зрения политической ангажированной части русскоязычных постсоветских стран — активистов «славянских организаций», журналистов, ученых-гуманитариев, которые выражают свое бурное несогласие с переименованиями, сопровождавшими в этих государствах расставание с «имперским» прошлым. А вот о позиции «русской улицы», как и рядовых представителей титульных групп, мне лично читать не приходилось (имеются в виду научные работы).

Естественно, задумывая «городской» проект, в центре которого — восприятие людьми изменений в жизни своей и своего города после распада СССР, мы не могли пройти мимо обсуждаемого сюжета. Однако результаты оказались несколько обескураживающими. Ну, неинтересно все это людям, редко вызывает живой отклик...

Например, общение в 2007 г. с рядовыми жителями Каракола, где переименования улиц продолжаются до сих пор, свидетельствовало о явном равнодушии к проблеме. Эта тема постоянно всплывала в общении с прохожими при поиске нужной улицы и нужного дома, и самой распространенной реакцией было: «Какая разница, лучше бы эти деньги пустили на что-нибудь полезное для города». В Бишкеке (2008 г.), где население более политизировано, респонденты реагировали на вопросы живее (хотя сами нужную нам тему обычно не поднимали). Однако разговор обычно сводился к оценке отдельных

новых названий, одни из которых нравились (или принимались как обоснованные), а другие — нет, причем явных различий в позициях «русских» и киргизов не отмечалось.

В подтверждение этих наблюдений позволю себе привести отрывок из разговора с русской женщиной, состоявшегося осенью 2008 г. в Бишкеке. Данный пример ценен тем, что интервью строилось как свободный обмен мнениями между старыми знакомыми. Все началось с того, что моя визави вспомнила об одной западной исследовательнице, работавшей в Бишкеке и тоже ожидавшей активной реакции людей на смену «символических маяков»:

Инф.: *Она интересовалась ассоциациями... какие памятники символизируют в лучшей степени город Кыргызстана. Мы много это обсуждали, и поняли, что вообще памятники как символы каких-либо процессов в городе очень редко случаются. Чаще всего это связано с тем, что ты вырос в этом районе и прожил там свою жизнь возле «Вечного огня» или еще что-то, а вот символических почти что нет смыслов. Есть какие-то бытовые привязанности... А вот для следующего поколения они вообще фактически отсутствуют.*

Соб.: *Да, знаете, у нас такое ощущение в России, что здесь все озабочены переименованиями, скажем, или памятниками... вот есть казахстанские ученые... там же все время идет борьба за переименование северных городов... Дело еще в том, что там действительно русское присутствие на северо-востоке Казахстана с XVII века, это очень важные струны затрагивает, и то выясняется, что это важно для активистов так называемой диаспоры, а сами люди... А здесь нет таких привязок к российскости этой, как мне кажется.*

Инф.: *А здесь, кстати, выпустили постановление, запрещающее переименовывать и города, и улицы, и так далее.*

Соб.: *Да, я вырезала из газеты. Значит, вас не напрягает или напрягает по поводу Абдрахманова [недавнее переименование части ул. Советской, одной из главных магистралей города, в улицу имени киргизского государственного деятеля. — Н.К.]?*

Инф.: *Меня напрягает, когда есть знаковые улицы, которые на самом деле гораздо более собирающие для людей; а когда их переименовывают... Московскую и Киевскую если начнут переименовывать, окажется, что это очень... Это некоторая соотношенность с другими территориями.*

Соб.: *Ну, Советская — это соотношенность с неким прошлым, которое кем-то, скажем, воспринимается неоднозначно. Можно еще поспорить...*

Инф.: *В большей степени позитивно воспринимается. Да, еще о ее проекте... и мы еще с архитекторами беседовали на эту тему... здесь символический слой как бы не имеет такого значения, или он в чем-то другом присутствует... Или здесь символика с другим... А они приехали [британские ученые. — Н.К.] с такими установками, что здесь существует символическое пространство (с иронией), что люди соотносят свою жизнь с какими-то...*

Наверное, обсуждение здесь этой темы можно было бы завершить призывом к более углубленному ее изучению, поиску причин «отсутствия искомого результата», в том числе и путем обращения опять же к (советскому) прошлому. Отношение к сегодняшним «божкам» (по выражению моей собеседницы) не может не быть проекцией восприятия табличек с названиями и «божков» ушедшей эпохи. Но я усложню задачу: если городские объекты разного рода, призванные играть роль канонических «мест памяти»¹, на такую роль никак не «тянут», возможно, эта функция переходит к каким-то иным и **по-иному** значимым для людей точкам городского ландшафта?

Русские жители Ферганы могли с ироническим смешком называть новый памятник великому ученому средневековья Ахмаду Аль-Фергани в полностью обновленном за время независимости городском парке «дяденькой с полотенцем» (он держит на вытянутых руках развернутую рукопись в форме свитка). Но они же достаточно спокойно говорили о сносе местными властями части «русского» кладбища — чтобы разбить на этом месте сквер (правда, желающим была предоставлена возможность перенести прах близких на новое место). Однако и русские, и узбеки Ферганы (естественно, не недавние выходцы из кишлаков, а выросшие в городе) соответствующих возрастных групп с эмоционально приподнятой интонацией, ностальгически улыбаясь, рассказывали о... гастрономе, существовавшем в советское время. Уже снесенное здание, архитектурного или исторического интереса не представлявшее, благодаря своей функции снабжения горожан «дефицитом» и своему местоположению было излюбленным местом запланированных и неожиданных «встреч по интересам»: в очереди всегда можно было найти близких по духу людей, обсудить новости, а потом продолжить общение

¹ Понятие «место памяти» (site of memory, lieu de mémoire) было введено в научный оборот французским ученым Пьером Нора в приложении к таким объектам, предметам и практикам, как архивы, музеи, соборы, площади, кладбища, мемориалы; учебники, эмблемы, базовые тексты; ритуалы, связанные с празднованием важнейших исторических дат. По определению П. Нора, «место памяти — это любой значимый объект (entity), материальный или нематериальный, который, желанием человеческой воли или усилиями времени, становится символической меткой в памяти какого-либо сообщества (в нашем случае — французской нации)» [Nora 1996: XVII]. Иными словами, речь идет о местах, являющихся «кристаллизацией [культурной] памяти; о местах, которые как бы сочатся ею (memory secrets itself)» [Nora 1989: 7].

в близлежащем парке под купленные тут же «водочку с закуской». Здание, судя по описаниям информантов, как раз и является тем, из чего «сочится» память о прошлом, до сих пор объединяющим разных людей, принадлежащих к обширному интернациональному сообществу ферганской интеллигенции — не столько по формально-профессиональному признаку, сколько по культуре (к которой приобщались и через родственные, дружеские связи), по городским привычкам, интересам, полуподпольным увлечениям и пр.

Еще одним примером (я могла бы привести их немало) является ныне существующий городской «объект» — бульвар в Бишкеке, заложенный еще в дореволюционное время, носивший до 1991 г. имя Дзержинского, а позже переименованный в бульвар Независимости (Эркиндик). Эту вроде бы особо не примечательную улицу (ну, зеленая; ну, тенистая, довольно ухоженная) практически все жители города, от мала до велика, продолжают ласково именовать Дзержинкой, а старожилы рассказывают о ней с особыми чувствами. В рассказах одних — тех, кому довелось жить в расположенных вдоль бульвара «сталинках», где в 1950–1960-е гг. начали селиться номенклатурные семьи разных национальностей (от народных поэтов и академиков до генералов и партийных чиновников), слышны отзвуки прежней благополучной жизни. Их свидетельствам, как бы демонстрирующим право на Дзержинку, на первый взгляд противоречат воспоминания людей, такое право активно оспаривавших: это бывшие сельские ребята, приехавшие в столицу учиться и привлеченные столичным обликом бульвара, где располагались единственные в городе приличные кафе и кинотеатр. «Аборигены» же частенько побивали «чужаков»... Сейчас те уличные драки забыты, и обе стороны объединяют ностальгические воспоминания о «прекрасном зеленом Фрунзе».

Возможно, в постсоветских условиях культурная память «кристаллизуется» в образе особых, деидеологизированных объектов, берущих на себя — на уровне малых (городских) сообществ функцию отвергаемых, забываемых, переоцениваемых «мест памяти», к символизации которых в той или иной мере приложило свою руку государство?¹

Хочется надеяться, что поставленные в этом кратком выступлении проблемы станут стимулом для новых исследований и не будут восприняты как относящиеся лишь к Центральной Азии, которая многим в России видится уже «отрезанным ломтем». Многие тысячи выходцев из региона живут в наших городах, и мой рассказ как минимум наводит на мысль о том, что между

¹ Это относится практически ко всем объектам и практикам, перечисленным П. Нора.

«ними» и «нами», возможно, гораздо больше общего, чем нам кажется...

Библиография

- Космарская Н.П.* «Дети империи» в постсоветской Центральной Азии: адаптивные практики и ментальные сдвиги (русские в Киргизии 1992–2002). М.: Наталис, 2006.
- Космарская Н.П.* «Мы все сейчас в одной лодке — и русские, и киргизы». Об этничности как факторе социального размежевания в постсоветских обществах // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2009. № 4.
- Михалев А.* Советские мемориалы в Монголии: коллективная память и борьба за символическое пространство // Диаспоры. 2009. № 2. С. 208–232.
- Полещук В.* «Апрельский кризис» 2007 г. в Эстонии. Вызовы истории и неэстонское население // Диаспоры. 2009. № 2. С. 177–207.
- Alexander C., Buchli V.* Introduction // C. Alexander, V. Buchli, C. Humprey. (eds.). *Urban Life in Post-Soviet Asia*. L.: UCL Press, 2007. P. 1–39.
- Bell J.* Redefining National Identity in Uzbekistan: Symbolic Tensions in Tashkent's Official Public Landscape // *Ecumene*. 1999. Vol. 6. No. 2. P. 183–208.
- Dürr E.* Contested Urban Space: Symbolizing Power and Identity in the City of Albuquerque, USA // A. Erdentug, F. Colombijn (eds.). *Urban Ethnic Encounters: Spatial Consequences*. L.; N.Y.: Routledge, 2002. P. 209–225.
- Guano E.* A Stroll Through la Boca. The Politics and Poetics of Spatial Experience in a Buenos Aires Neighborhood // *Space & Culture*. 2003. Vol. 6. No. 4. P. 356–376.
- Low S.M.* The Anthropology of Cities: Imagining and Theorizing the City // *Annual Review of Anthropology*. 1996. Vol. 25. P. 383–409.
- Manzanova G.* City of Migrants: Contemporary Ulan-Ude in the Context of Russian Migration // C. Alexander, V. Buchli, C. Humprey. (eds.). *Urban Life in Post-Soviet Asia*. L.: UCL Press, 2007. P. 125–135.
- Nora P.* Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire // *Representations*. 1989. Vol. 26. Spring 1989. P. 7–25.
- Nora P.* From Lieux de Mémoire to Realms of Memory // P. Nora, L.D. Kritzman (eds.). *Realms of Memory: Rethinking the French Past*. Vol. 1. N.Y.; Chichester: Columbia University Press, 1996. P. XV–XXIV.
- Vukov N., Toncheva S.* Town Squares and Socialist Heritage: the Reworking of Memorial Landscapes in Post-Socialist Bulgaria // S. Schröder-Esch, J.H. Ulbricht (eds.). *The Politics of Heritage and Regional Development Strategies — actors, interests, conflicts*. Weimar: Bauhaus — Universität Weimar, 2006. P. 121–136 <http://www.swkk.de/hermes/research/Buchbeitraege/HERMES-Band_2/HERMES_vol2_13Vukov.pdf>.

БЕНДЖАМИН КОУП

1

Сам по себе вопрос ставит передо мной две проблемы. Во-первых, он предполагает точку зрения дисциплины — откуда следует смотреть на изучение городских пространств. Что же касается меня, то именно растущий интерес к постсоциалистическим городским пространствам стал причиной того, что я утратил безопасную дисциплинарную опору. Эти городские пространства являются стимулирующим и проблематичным исследовательским полем, поскольку сталкивают нас с чем-то необычным, что требует выработки новых теоретических и практических ответов. Например, последняя статья, которую я написал, начинается как теоретические размышления о взаимоотношениях между культурными мега-событиями и локальными пространствами, а заканчивается как детективная история, в которой я прослеживаю коррупционные схемы и интриги, выстраивающиеся между политиками, застройщиками и неправительственными организациями в процессе приватизации и управления пространством.

Поэтому мой первый ответ на поставленный вопрос будет следующим: изучение сложных социальных отношений, конструирующих пространства, требует необыкновенного уровня дисциплинарной гибкости, которая подчас может вызвать у исследователя ощущение наподобие такого: «О нет! Мне что, снова надо всерьез учиться чему-то новому?!».

(Здесь мне хотелось бы только упомянуть проблему политических последствий, которые имеют занятия урбанистикой. Я имею в виду возможность превратить исследование города в профессию или опасность, которые могут возникнуть, если пытаешься вычислить мощные сферы влияния, вовлеченные в застройку, регулирование и коммерческое использование пространств.

Бенджамин Коуп (Benjamin Cope)

Европейский гуманитарный университет, Вильнюс, Литва /
Национальная галерея «Захента»,
Варшава, Польша
b.cope@zacheta.art.pl

В этом отношении урбанистика отчетливо располагается на месте занятого пересечения, и продумывание таких проблем станет частью того, что даст возможность дисциплине двигаться вперед. Более устоявшаяся (меж)дисциплинарная структура может оказаться полезной для выстраивания солидарности между учеными, предпринимателями сложные исследования.)

Второй проблемой, стоящей передо мной, является то, что вопрос сконцентрирован на изучении города. Меня в данном случае интересуют сложные отношения, благодаря которым создаются пространства, и соответственно возможность иного способа их создания. Для меня сельские пространства представляют столь же интересный компонент современной мозаики пространственных форм, как и малые города, провинциальные центры или столицы. Все они, даже наиболее изолированные или естественные, являются продуктом современной конфигурации отношений производства, которую, за неимением лучшего слова, мы обычно обозначаем как «глобализация». Они являются ее продуктом, хотя и оказываются вне доминирующей парадигмы или основных центров этого процесса; поэтому они демонстрируют, что глобализация является в гораздо меньшей степени глобальным однородным процессом, чем указывает ее название. Это может быть не столь очевидно в городском центре.

Отличие подобных мест от больших городов может подсказать интересный угол зрения для анализа городов, а также пределы или альтернативы способам экономического производства и социальным отношениям, которые они порождают. В силу этого мне очень не нравится то городское «триумфаторство», которое присутствует даже у некоторых критически настроенных исследователей города. Я полагаю, что город и село необходимо изучать в рамках единой динамики. Поэтому мне не очень нравятся английский и русский термины «urban studies» и «городские исследования», но я не могу придумать достойную альтернативу: «пространственные исследования» кажутся чересчур абстрактными, а «региональные исследования» тоже не вполне верными. Если у кого-нибудь есть какие-то соображения, буду признателен.

Можно предположить, что падение коммунистических режимов в Восточной Европе вызвало интенсификацию, диверсификацию и усложнение отношений (или было вызвано этими процессами), благодаря чему конструируются пространства. Поэтому, быть может, неудивительно, что постсоциалистическая урбанистика в то же самое время вызвала бодрящее ощущение того, сколь многое предстоит сделать, а также депрес-

сивное чувство, что она еще на самом деле не стала наукой, не вовлечена в процесс стремительных перемен, которые переживают наши городские исследования.

У этих изъянов есть существенные материальные причины: исследователи оказываются перед лицом чрезвычайных трудностей, связанных с институциональной нестабильностью, отсутствием надежного журнала, книжной сети, а также отсутствием финансовой поддержки для долгосрочных полевых исследований. Эта фрагментированная и ненадежная мозаика отношений академического производства сама по себе является дополнительным свидетельством того, почему необходимо изучать производственные отношения, которые конституируют нашу область.

Общие дисциплинарные линии постсоциалистической урбанистики, однако, являются достаточно ясными: постсоциалистические городские пространства располагаются на шкале, крайними точками которой являются отчужденные недоурбанизированные (или неправильно урбанизированные) псевдоколлективные пространства продажного коммунизма (или его модификаций, все еще практикуемых авторитарными постсоциалистическими режимами) и гиперприватные, более сегрегированные пространственно города продажного постсоциалистического капитализма (говоря иными словами, совершенно негодное городское планирование и дефицит толкового управления пространством).

Сторонники этой точки зрения недооценивают ту степень, до которой, если перефразировать то, что Абду Малик Симон пишет об африканских городах, все города «не функционируют», или скорее функционируют не так, как должны, или не так, как их функционирование пытаются представить. Или, если использовать язык Дэвида Харви, города являются пространственным выходом (fix) капитализма: застроенная городская среда делает возможным аккумуляцию капитала, однако в то же самое время аккумуляция капитала требует его движения, а города являются неподвижными (fixed). Поэтому неизбежно, что города представляют собой парадоксальные пространства, где конфликты самых разных интересов накладываются друг на друга. Вопрос заключается в том, как эти конфликты разворачиваются в конкретных локусах, а также что мы можем сделать, чтобы повлиять на них.

Ситуация меняется по мере того, как конфликты, связанные с конкретными локусами (поняты с экологической или общественной точек зрения, а также с позиций элементарной «защиты прав человека» — говорю о том, что происходит в Варшаве), становятся опорными точками политической и теорети-

ческой мобилизации. Таким образом, проблема пространственных трансформаций, которые переживают постсоциалистические городские формы (если перефразировать название книги Кирилла Станилова, вышедшей в 2007 г.), или мозаика постсоциалистической Европы (Саша Ценкова, Зорика Неделик-Буда, публикация 2006 г.) все отчетливее оказываются в центре внимания ученых, в то время как местные пространственные проблемы становятся частью общественных или политических дискуссий. Например, участие варшавского приложения к наиболее крупной польской ежедневной газете «Gazeta Wyborcza» в обсуждении местных проблем во имя блага общества контрастирует с бесплодным проевропейским либерализмом в основных разделах издания.

Рост интереса к пространственным аспектам посттрансформационных обществ совпал со временем, когда на международном уровне растет интерес к описанию целого ряда последствий воздействия глобализации, свидетельством чему является «Globalizing Cities: a New Spatial Order» (Питер Маркузе, Роджен Ван Кемпен, 2007 г.). С интересом (иногда и тревогой) видишь, что на местном уровне именно художественные проекты и неправительственные организации нередко оказываются впереди в исследовании и критике фактуры городских структур, в которых мы живем. У художников отлично получается погружать экспериментальный исследовательский шуп в городские пространства. Тревогу же вызывает то, что создание произведений искусства само по себе является частью дифференциации пространственных возможностей, которые искусство намерено подвергнуть критике. Можем ли мы отделить пространства от наших собственных классовых / пространственных амбиций и возможностей?

Упомянувшиеся выше типы анализа постсоциалистических городских пространств демонстрируют меняющиеся структуры превращения земли и зданий в товар, а вместе с тем возникновение более социально стратифицированных городских пространств. Как отмечается, развитие механизмов рынка земли спровоцировало трудности муниципального планирования в большинстве городов в регионе, где планировщики не умеют находить возможности соотнести рынок и планирование. Интересным представляется и растущее число антропологических и социологических исследований, посвященных городским или сельским практикам, а также экспериментам художников и общественных деятелей в конкретных пространственных контекстах.

С моей точки зрения, нам нужны научные работы, которые связывали бы эти элементы. Возвращаясь к первоначальному

пафосу моей реплики, замечу, что междисциплинарный подход, учитывающий все политические, социальные, культурные, психологические, правовые, художественные, экономические, личностные факторы, значимые в конкретной конфигурации (там, где местные пространства вступают в конфронтацию с международными силами), требует интенсивного и экстенсивного интеллектуального труда. Попытка создать подобную дисциплину имела бы важные следствия для общественной деятельности.

2

Мне кажется, что наиболее важной современной научной проблемой является выработка адекватного анализа неравномерного пространственного развития. Я имею в виду попытку проанализировать то, что Ядвига Станишкис назвала «анафемой разума» (говоря другими словами, почему решения, которые кажутся разумными тем, кто находится у власти, могут иметь совершенно другие последствия, когда они реализуются на пространственной периферии). Именно так я понимаю Дорин Месси, когда она сравнивает точку зрения на мир человека в самолете с точкой зрения того, кто живет на острове, находящемся внизу. Иными словами, исследование пространства является анализом того, каким образом само пространство создает множество дифференцирующих факторов, которые структурируют, ограничивают и конструируют способ переживания мира.

В теории неравномерного пространственного развития должны приниматься во внимание политико-экономические факторы, участвующие в производстве пространства, развитого неравномерно. В задачу этого предприятия входит создание на основе идей, высказанных в рамках «критической географии», дисциплины, которая попытается прочесть Маркса через пространственную оптику и таким образом прийти к пониманию пространственных последствий современного капиталистического способа производства. Эти идеи должны быть продуманы с учетом местной специфики конкретных пространств, для того чтобы предложить критику как системных изменений (способов управления пространством и превращения пространства в товар), так и способов жить в пространстве, говорить о нем и воспринимать его.

Подобная работа делается Линдой МакДауэлл, которая, анализируя изменения гендерного баланса на рынках труда, осуществила пространственный анализ стратегий, используемых молодыми людьми (men) из рабочего класса в экономически неблагоприятных областях Шеффилда и Кембриджа. МакДауэлл удалось показать, что пространственная локализация и классовые характеристики оказываются тесно связанными друг с дру-

гом: и факторы, вытесняющие этих молодых людей с рынка труда, и структуры поддержки, которые они находят, являются специфичными для пространств, из которых они происходят. Это пространственно ориентированное социологическое исследование позволяет молодым людям быть услышанными, объяснив логику тех вызовов, с которыми они сталкиваются, а не просто дегуманизируя их, как это часто происходит, когда об этих людях говорят средства массовой информации.

Интерес МакДауэлл к неравномерному пространственному развитию привел ее также к изучению опыта разных поколений мигрантов, живущих и работающих в Лондоне. Если один уровень неравномерного городского развития — это различие между разными районами города или разными городами в стране, то другой вводит геополитическое измерение. Например, существование в рамках Шенгенской зоны и пребывание вне Шенгена не просто противоположны, как могло бы показаться. Пребывание вне Шенгенской зоны является качественно иным опытом, чем пребывание внутри нее: действительно, очень многие люди, находящиеся внутри Шенгена, не понимают, что значит быть вне. Миграция сталкивает эти расхождения пространственного опыта: например, в своем анализе случайных заработков в Лондоне МакДауэлл демонстрирует тот факт, что, даже выполняя сходную работу, недавние мигранты из Восточной Европы считают существенными иные социальные связи, ожидания и угрозы, чем давние мигранты из Южной Азии. Артикуляция того, что конкретное пространство переживается неравномерно в зависимости от места происхождения, периода жизни, семейного статуса и т.д., может, таким образом, многое рассказать нам о том, как функционирует общество.

Надеюсь, из приведенного выше примера становится ясно, что теория неравномерного пространственного развития ни в какой мере не является ни экономической, ни даже пространственно детерминистской. Если, к примеру, посмотреть на городское или сельское пространство с феминистской точки зрения, сразу становится понятно, что пространство развивается неравномерно в гендерном отношении (иными словами, что город или деревня являются сексистскими). То же самое можно продемонстрировать в отношении пожилых, детей, подростков, инвалидов, иммигрантов, живой природы и т.д. Это не значит, что данные представители населения являются пассивными жертвами пространства: стратегии преодоления трудностей, а также импровизационные моменты повседневных практик демонстрируют новые пути использования, понимания и производства пространств. Эксперименты общественных деятелей или художников, а также проекты городского

дизайна указывают на новые потенциальные качества пространственных взаимодействий и, следовательно, выступают в качестве контраста по отношению к существующим пространственным формам. Задача теории неравномерного пространственного развития, таким образом, заключается в том, чтобы уйти от понимания пространства в терминах неравномерных уровней экономического развития или потенциала капитализации пространства к качеству пространства как высшей ценности.

Но что же такое это «качество пространства»: что такое пространство и как его разыгрывают, воображают, воссоздают, как ему сопротивляются, как из-за него страдают те, кто им пользуется? Как можем мы озвучить опыт передвижений челночников, «муравьев» («mrówki») или перемещения сигарет, которые они тайком перевозят через польско-белорусскую границу? Ведь именно эти передвижения превращают пространство в ценность и сталкивают международную политику с сетями контактов внутри локальных сообществ по одну сторону границы или по другую. На самом деле, это сводится к проблеме, перед которой давно стоит антропология, — необходимости внимательно отнестись к сложным отношениям, которые конструируют локальное сообщество, и в то же время связать местную проблематику с глобальными или универсальными вопросами.

Этой проблемой сейчас активно занимается Анна Цинг. Когда начинаешь исследовать даже очень ограниченное пространство, поражаешься тому, как трудно принять во внимание, учесть все факторы, которые играют роль в его формировании. Насколько труднее исследовать, как обживается и воспринимается это пространство разными людьми, которые используют и создают его, а также размышлять о том, совместимы ли друг с другом их переживания пространства? Однако именно эта трудность представляется самым существенным в конструировании пространства. Как можно вписать эту трудность в большие дискурсы об исследовании и динамике пространства?

Именно идею столкновения между сложностью данного пространства и большим контекстом я имел в виду, когда говорил о теории неравномерного пространственного развития. Оставляю читателю вообразить, каких странных исследовательских практик, требующих терпения, и насколько изобретательных способов воплощения полученных результатов это может потребовать: как уже упоминалось, исследования постсоциалистических города и села являются привлекательной (хотя и весьма обширной) научной областью.

Или может быть то, что я хочу сказать, является попыткой дать новый импульс такой науке, как география? В значительной степени наиболее динамичные процессы на факультетах географии во всем мире связаны с развитием G.I.S. (Geographical Information System) и технологий измерения и репрезентации пространств (с очевидными ответвлениями в военной и коммерческой областях). В остальном география представляется наукой, все менее уверенной в своем статусе, прежде всего по мере того, как другие социальные науки становятся все более пространственно ориентированными. По крайней мере, новые академические проекты по гуманитарным наукам в Центральной и Восточной Европе на географию обращают мало внимания.

Между тем расцвет технологий измерения и репрезентации пространства привел к демократизации умения составлять географические карты и выражать свое видение пространства. Поэтому вызов географии в эпоху, когда пространственные структуры и практики были изменены на фундаментальном уровне технологиями коммуникации, заключается в исследовании того, как эти технологии могут использоваться для более полного понимания пространства и тех отношений, из которых оно складывается, и, таким образом, для создания пространства на иных основаниях.

Подведем итоги. Я считаю название наиболее значительной книги Анри Лефевра «Производство пространства» исключительно важным в теоретическом и политическом отношении; «производство пространства» говорит о необходимости продумать два кажущихся парадоксальными аспекта пространства в их отношении друг к другу. Прежде всего, пространство необходимо исследовать как продукт (конечный продукт) отношений производства. Иными словами, речь идет о политико-экономической конфигурации, в рамках которой организовано наше общество и которая производит пространство в том виде, в котором оно существует. Второй аспект заключается в том, что пространство является попросту тем, что производят наши социальные отношения. Изменяя их, меняя психофизическую хореографию, благодаря которой мы населяем пространство и передвигаемся в нем, мы меняем пространства, в которых живем. Поэтому пространство является одновременно закрытым объектом для анализа и открытым для альтернативного производства. Так что — вперед!

Перевод с англ. Аркадия Блюмбаума

КИРИЛЛ МАСЛИНСКИЙ

Сейчас ведется множество частных антропологических исследований, объект которых так или иначе локализован в городе. Однако мне в своих ответах хотелось бы не вдаваться в подробности обзора этих исследований, а оттолкнуться от проблематизации самого понятия *город* как объекта антропологии. Один из самых естественных уровней, позволяющих включить город в антропологическое исследование, — уровень сообществ.

Сообщество горожан, даже в случае малого города, видимо, следует относить к классу воображаемых (по Андерсону). Для такого сообщества основная форма существования — уровень автостереотипов, воспроизводимых в ситуации создания презентативного текста или земляческого общения, а также стратегии противопоставления другим значимым окружающим сообществам (другим горожанам). Кроме того, праздничная городская культура, объединяющая сообщество горожан и актуализирующая именно городскую составляющую идентичности, дает основания рассматривать город и как самостоятельный этнографический объект.

Однако при таком узкодисциплинарном подходе возникает ощущение, что поле антропологии города слишком ограничено, т.к. все прочие интересные явления оказываются связаны с объектом «город» только формально. Например, локализация рассматриваемого сообщества (скажем, какой-нибудь молодежной субкультурной группы) в пределах городской территории будет, возможно, достаточным основанием для прибавления к исследуемому эпитета «городской», но механическое конструирование антропологии города из всех подобных интересных объектов видится уже несколько произвольным.

Пожалуй, для меня интерес к поиску города и городской культуры как самостоятельного антропологического объекта, не равного сумме зафиксированных в нем традиций и сюжетов, связан прежде всего со случаем полевого исследования небольшого города уездного масштаба, который, как кажется, можно охватить взглядом, описать как целостность. Преимущественно такие города стали прототипом отечественных антропологических исследований с охватом в целый город, в частности, в рамках большого проекта по изучению российской провинции конца 1990-х — начала 2000-х гг. Впрочем, многие из подобных исследований писались «с голоса» только одного из городских сообществ: краеведов, туристов, гопников, наивных поэтов. Ощущение фрагментарности и неполноты такой картины оставляет открытым вопрос о поиске теоретической основы и систематических описательных инструментов, позволяющих не упустить ничего из существенного для целостного образа города.

Как мне представляется, один путей перехода от исчисления внутригородских традиций к синтетическому описанию городской культуры — в систематическом обращении к пространственному уровню существования города. Именно локальность такого социально сложного объекта, как город, его довольно четкие пространственные границы, естественная локализация разных по природе и структуре компонентов, наглядное соприкосновение и связность населяющих город сообществ выглядят для антрополога притягательно и многообещающе.

Наиболее четко эта проблема соотношения пространственного и социального уровней города поставлена в урбанистике — дисциплине, отталкивающейся от постулата целостности города во всех его проявлениях. За вторую половину XX в. тезис о взаимообусловленности пространственных форм и пространственного поведения людей стал в урбанистике общим местом. Отсюда идея искать связь между пространственными формами в городе (конфигурацией уличной сети, шириной улиц, расположением ориентиров и пр.) с тем или иным аспектом социальной реальности горожан: общими визуальными образами, скоростью пешеходов, разделяемыми сообществом ценностями и эмоциями по отношению к городским локусам и пр.

Причем инструментарий описания и анализа городских пространственных форм (*паттернов*) прошел значительную эволюцию от наглядной пятичленной морфологии Линча (путь, граница, район, узел, ориентир) в его исследованиях образа города 1950-х гг. до гораздо более абстрактных и изоциренных форм, например, топологического анализа пространственных

конфигураций, активно задействующего методы математической теории графов, в современном варианте space syntax лондонской школы (см. напр.: [Batty 2004]).

Рассматривая пространство как самостоятельный и независимый компонент анализа социальной реальности, урбанисты видят возможность локализовать причины возникновения пространственных форм в конкретных социальных процессах и наоборот, четко обозначать ограничения, накладываемые пространственными конфигурациями на социальные процессы, что напрямую выводит на проблематику антропологических исследований города [Hillier, Vaughan 2007].

Тем не менее взаимодействие антропологии с урбанистикой в этом вопросе на сегодняшний день оставляет желать большего внимания. Паттерны передвижения в городе, всегда служившие излюбленным материалом урбанистических исследований, оказываются для антропологов слишком обыденными, чтобы стать привлекательным объектом, а социальная сегрегация в городе традиционно относится к ведомству социологов. Урбанисты, в свою очередь, даже при ориентации на анализ культурного пространства города крайне редко добиваются до антропологически релевантных культурных конфигураций, даже таких очевидных, как упомянутые выше субкультуры, ограничиваясь более социологическими примерами вроде обусловленности определенных видов преступности свойствами пространственной среды.

Здесь я подхожу к той проблеме, которую считаю актуальной для современных антропологических исследований города. Если антропологию интересует социальное измерение города как целостного объекта, то нетривиальные результаты можно получить, как мне представляется, только опираясь на хорошо разработанную базу анализа пространственной среды данного города. На сегодняшний день именно пространственная обусловленность сообществ и традиций в городе изучается наименее систематично.

Антропологи склонны фиксировать пространственную локализацию традиций как нечто данное, не ставя вопрос о причинах и условиях именно такой локализации. На примере урбанистических исследований мне хотелось подчеркнуть, что во многих случаях пространственную обусловленность социальных явлений удается убедительно продемонстрировать.

Причем значение локализации тех или иных социальных ситуаций в городе не ограничивается одной изучаемой группой. Например, постоянное место встреч неформалов задает также и круг возможных контактов с другими группами горожан,

повседневные маршруты которых связаны с данным локусом, что может отражаться также на репутации районов, пространственном избегании, маршрутах прогулок, географии столкновений и пр.

Пространственная привязка в современных социальных исследованиях, когда осознаны проблемы визуализаторской интерпретации, неразрывно сопутствующие картографии (см. напр.: [Monmonier 1996]), уже не может ограничиваться простым нанесением точек на карту. Мне представляется, что возможно и продуктивно использовать тот или иной вариант уже хорошо разработанного урбанистами теоретического и прикладного инструментария анализа пространственной среды (в том числе программное обеспечение, например методики упомянутого space syntax, пакет Depthmap).

Непосредственное приложение и польза от урбанистических методов видятся в таких частных вопросах, как изучение районов, традиционных и новых, топонимика и репутация, но возможны и более тонкие результаты, т.к. наиболее универсальные из существующих урбанистических методик приложимы к пространствам любого масштаба, от отдельно взятого дома до целых регионов. Также использование формализованных пространственных конфигураций при описании городов может дать основу для надежных типологических сопоставлений разного полевого материала.

По существу, затронутая здесь проблематика взаимозависимости социального и пространственного не ограничивается собственно городскими пространствами, а гораздо более универсальна. Просто в силу исторических условий городская среда стала главным поводом для рефлексий на эту тему, а урбанистика — колыбелью, в которой выросли подобные исследования. Хотелось бы надеяться, что осмысление пространственной среды города послужит стимулом и для развития новых методов в антропологии.

Библиография

- Batty M.* A New Theory of Space Syntax. Working Paper 75. Centre for Advanced Spatial Analysis, UCL. L., 2004. <http://www.casa.ucl.ac.uk/working_papers/paper75.pdf>.
- Hillier B., Vaughan L.* The City as One Thing // Progress in Planning. 2007. Vol. 67. № 3. P. 205–230.
- Monmonier M.* How to Lie with Maps. Chicago; L.: University of Chicago Press, 1996.

МИХАИЛ МАТЛИН

1

2

Изучение города с позиции фольклористики на данный момент представляется мне находящимся в начальной стадии. Это, во-первых, означает, что современный город в его разных исторических, этноконфессиональных, социально-экономических и культурных типах осознан как самостоятельное и важнейшее пространство полевых исследований. Во-вторых, по мере накопления материала все более понятным становится, что для адекватного постижения форм, способов функционирования фольклора / постфольклора в мультикультурном пространстве современного города требуются новые методологические подходы и методические принципы. Такое акцентирование внимания науки на городском культурном пространстве и взгляд на классический крестьянский фольклор со стороны «города» сегодня может помочь не только в исследованиях этих областей традиционной культуры, но и в решении более глобальных проблем, в том числе и проблемы самоопределения фольклористики в системе гуманитарного знания.

Очень важным фактом и фактором формирования интереса русской фольклористики к городской культуре стало издание коллективного труда «Современный городской фольклор» под редакцией С.Ю. Неклюдова. В нем был подведен предварительный итог сделанного по этой теме в последней четверти XX в. и обозначено подавляющее большинство наиболее значимых для сегодняшнего времени направлений изучения, сформулированы его методологические основы.

В последующее десятилетие наблюдался бурный рост как количества записей городского фольклора, так и исследований по отдельным жанрам и формам, включая кандидатские и докторские диссертации. Важней-

шую роль в этом процессе сыграли научные конференции, в том числе организованные и проведенные государственным республиканским Центром русского фольклора: «Славянская традиционная культура и современный мир», «Фольклор малых социальных групп: традиции и современность», «Традиционная культура российского города как объект междисциплинарных исследований», «Folk-art-net: новые горизонты творчества. От традиции к виртуальности», а также Первый Всероссийский конгресс фольклористов и др.

Однако, на мой взгляд, нельзя считать законченным этап накопления материала, более того, именно здесь скрывается одна из важных проблем. Дело в том, что современные формы бытовой и обрядово-праздничной городской культуры, включая и постфольклор, обладают высокой динамикой, своеобразной текучестью, обусловленной разными факторами. Это и более значимая роль личностного начала в актуализации и перестройке современной традиции; резко расширившееся благодаря Интернету коммуникативное поле ее существования; усиление воздействия на нее бизнеса и государственных культурных и образовательных учреждений и организаций. Поэтому без непрерывного мониторинга процессов в области городского постфольклора ни одно обобщение не может считаться убедительным и обоснованным.

Второй существенной проблемой является принципиально иное соотношение устности / письменности. Можно вспомнить такой популярный термин советской фольклористики, как фольклоризация — вхождение литературных произведений в фольклорное пространство, в результате чего происходит не только изменение принципов их функционирования, но и перестройка-«переделка». Собственно говоря, нечто подобное происходит и сегодня. Так, в современной городской свадьбе в конце XX в. прочно закрепились письменные тексты, в которых воспроизводятся разнообразные официальные документы. Это может быть текст, созданный, с одной стороны, по законам письменной (визуальной) культуры (шрифтовое выделение отдельных фрагментов, слов, букв, рисунки, виньетки, фотографии, в том числе сканированные изображения и т.д.), а с другой стороны, обязательно устно произносимый, точнее говоря, зачитываемый на свадьбе, обладающий вариативностью, анонимностью и проч.¹

К третьей проблеме, наверное, можно отнести проблему изучения Интернета как коммуникативного пространства информационного общества, в котором формируются и активно дей-

¹ См. об этом: [Матлин 2002].

ствуют социальные группы нового типа — сетевые сообщества. Именно в них некоторые формы и виды городской культурной традиции, в том числе и постфольклор, обрели новое пространство существования. Конечно, уже сейчас невозможно говорить об интернет-коммуникации как явлении исключительно городской культуры, однако аккумулируются и ретранслируются в ней все-таки именно ее традиции. В качестве примера можно привести так называемые «форумы невест», которые сейчас существуют на всех более или менее крупных свадебных порталах¹.

Библиография

Матлин М.Г. Письменные документы как вербальный компонент современной русской свадьбы // Актуальные проблемы полевой фольклористики. М.: МГУ, 2002. С. 180–196.

РОБЕРТ ПАЙРА

Вопросы городской истории: случай Львова

Если в исследованиях городов существует известное в социологии и психологии понятие «идеальные типы», то Львов, с точки зрения современной историографии и истории культуры, хорошо вписывается в эту матрицу. Есть несколько причин полагать, что это именно так. Приблизительно с 2005 г. начался бум исторических публикаций на различных языках, посвященных этому городу (главным образом на украинском, польском, немецком, а также английском); в этих работах Львов более или менее осознанно рассматривается как парадигматический пример значительных культурных процессов, происходящих в данном регионе. Назовем лишь некоторые из этих работ. См., например, первый в своем роде том под редакцией Джона Чаплиски, недавнее иссле-

Роберт Пайра (Robert Pyrah)
Оксфордский университет,
Великобритания
robert.pyrah@sant.ox.ac.uk

¹ См., например: Свадебный форум <<http://forum.svsp.ru/index.php>>; Свадебка. Форум <<http://forum.svadebka.ws>>; Красивая свадьба. Форум <<http://v-zags.com/forum/index.php>> и мн. др.

дование под редакцией Хенке, Россолински и Тера, а также многочисленные труды Ярослава Хрыцака [Czaplicka 2005a; Fäßler, Held, Sawitzki 1995; Zaliński, Karolczak 1995–2002]. Общим для всех этих исследований является упор на «кросскультурное» прошлое Львова, несмотря на его по большей части моноэтническое настоящее, и потребность во всеохватном историческом подходе. При данном подходе устраняются как дисциплинарные, так и этнолингвистические границы, что помогает лучше понять прошлое и настоящее города¹.

Как неоднократно подчеркивалось исследователями, включая автора этих строк, только на протяжении XX столетия город принадлежал пяти разным политическим режимам: до 1918 г. — Габсбургам, до 1939 г. — республиканской Польше, в военное время он был оккупирован нацистами, а затем большевиками, в 1945 г. стал частью СССР, в 1991 г. вошел в состав независимой Украины. Сменам политических режимов соответствовали не менее важные демографические перемены: от более или менее стабильных пропорций, включавших большинство поляков (ок. 55 %), затем евреев (ок. 30 %) и украинское меньшинство (ок. 10 %) до Второй мировой войны к ситуации преобладающего большинства украинцев (ок. 90 %), по большей части переселившихся из соседних сельских областей². Варьирующееся, но при этом уменьшающееся число русских мигрантов в подчас статистически небесспорных исследованиях составляет вторую по величине группу, за которой следуют почти исчезнувшие в результате Холокоста евреи, а также поляки, массовая высылка которых была частью сталинской политики очищения послевоенных границ на этнических основаниях³.

Иными словами, Львов, как указывают Чаплиска и другие авторы, служит примером удобного для исследователя макрокосма, в котором происходят значительные региональные процессы изменения этнического состава и сдвига границ, оказывающие влияние на множество других городов, таких как Вроцлав, Шецин, Гданьск, Вильнюс [Czaplicka 2005b: 15]⁴. Однако до известной степени (указывающей, как подчас представляется, на большую, чем где бы то ни было, интенсивность процессов

¹ В особенности см.: [Hrytsak 2005b].

² <<http://www.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/Lviv>>. Эта цифра растет с 79 % в 1989 г. и отражает неуклонный рост в течение десятилетий, прошедших со дня смерти Сталина. О сопутствующих факторах см.: [Hrytsak 2000: 264].

³ Более детально, включая статистический сбой, это проанализировано в: [Fuhrmann, Tomicka, Turowska 2008: 142].

⁴ Ср. работу Нормана Девиса и Роджера Мурхауза о Вроцлаве, эмблематически озаглавленную «Microcosm: A Portrait of a Central European City» [Davies, Moorhouse 2002; Briedis 2009].

и своего рода уникальность) Львов в то же время сохраняет в нетронутом виде высокоразвитую городскую фактуру, где меняющаяся топонимика¹ не очень повлияла на назойливое визуальное напоминание о политических режимах прошлого. В особенности это касается эпох габсбургской монархии и позднегабсбургской полуавтономной польской администрации, правление которой началось в 1880-х гг., когда по большей части и возникли эта городская архитектура и планирование. Отмечается и тот факт, что советское планирование осуществило лишь несколько вторжений в данную городскую среду; визуальное наследие этого городского пространства обладает очевидными следствиями для написания и исследования истории в настоящем [Czaplicka 2005b: 17].

Эти конкретные условия случайно оказались созвучны процессам, происходящим в исторических исследованиях, особенно (но не исключительно) в рамках нынешней западной исторической науки. Фокус исследования смещается от интереса к национальным контекстам и политическим структурам как базовым объектам анализа — давний подход, сформированный почти вездесущей идеей Бенедикта Андерсена о политических сообществах как «воображаемых» конструктах [Anderson 1991] — к исследованию городов, регионов, меньшинств, а также общему интересу к разнородным пространствам культурного взаимодействия.

До некоторой степени это явление отражает «усталость от национализма»², а также поиск новых парадигм исторических исследований Восточной и Центральной Европы, в частности тех, которые подчеркивали бы наднациональные сходства наряду с различиями или вместо них³. В недавней работе, посвященной пограничным территориям, меньшинствам и широко понимаемой маргинальности, Питер Джадсон приводит основные примеры, демонстрирующие, сколь велико количество существующих подходов, которые легко выходят за рамки национально-государственной точки зрения [Judson 2007; Pugh, Turda 2010]. Другие тематические возможности включают такие проблемы (хотя и не ограничиваются ими), как условия модерности, художественные и культурные проявления модернизма начала XX века⁴, постколониализм (Габсбурги и Сове-

¹ См.: [Hrytsak, Susak 2003].

² См. семинар: 'Nationalism Fatigue? New Approaches to the History of Society, Memory and Public Sphere in Eastern and Central Europe', L'viv Center for Urban History of East-Central Europe, 11 июня 2009 г. См. программу семинара: <<http://www.lvivcenter.org/en/chronicle/news?newsid=190>>.

³ Ср.: [Esbenschade 1995].

⁴ Конференция: 'Sex in the Cities: Prostitution, White Slaving, and Sexual Minorities in Eastern and Central Europe', L'viv Center, June 2009: <<http://www.lvivcenter.org/en/conferences/sic2009/>>.

ты), миграция как особенность, сопутствующая транснационализму¹, а также роль субнациональных связей, таких как социальные и научные общества, и религии как факторов формирования идентичности. Все эти явления пересекаются с тем, что занимает центральное место в городских исследованиях, где город становится основной точкой отсчета и локусом, в котором зарождаются и разворачиваются подобные процессы.

Конечно, историки, изучающие национализм и прибегающие к сравнительному анализу, также приобретают многое, используя подобную микрооптику, ибо Львов дает им богатый материал для исследований. Например, роль, которую город играл в качестве параллельного символического «Пьемонта» для украинского и польского национализмов конца XIX в., была особенно внимательно изучена в статьях, фокусирувавшихся на функции естественно-научных и гуманитарных институций, располагавшихся в Львове. Они рассматривались как центры национального сознания и культурного самовыражения в трудных обстоятельствах [Magocsi 2002; Wendland 2002] (см. также: [Hrytsak 2003: 105]). В польском случае значимость Львова — инкубатора и хранилища национальной культуры — определяется относительно мягкими условиями, а также автономией, предоставленной австрийскими властями при разделе страны (с 1790-х гг. по 1918 г.), по крайней мере по сравнению с условиями, сложившимися в Варшаве или Познани, которые находились под более жесткой властью России и Германии².

Историки, изучающие украинское национальное самосознание, обращают внимание на положение Львова в ситуации геополитического раскола страны, заметные прозападные настроения города, где большинство является украиноговорящим, упоминая политические предпочтения Львова (центр антикоммунистического «Руха» в конце 1980-х гг.) и статус опоры «Оранжевой революции» 2005 г., направленной против откровенно пророссийского кандидата в президенты Виктора Януковича.

Эти дискурсивные факторы опираются на две во многом сходные, но при этом взаимоисключающие дискурсивные традиции — на представления о Львове как центре «польской» или, наоборот, «украинской» национальной идентичности. Как та-

¹ См.: [Guarnizo, Smith 1998: 5].

² По этой причине ультранационалист Роман Дмовский (1864–1939) переехал в 1895 г. из русской Польши во Львов, чтобы основать свое национально-демократическое движение; Филипп Тер полагает, что развитие польского театра на уровне репертуара и стилистики, вероятно, также происходило благодаря мягкости режима. См.: [Ther 2003].

ковые, они отчетливо пересекаются с интересом недавних исторических исследований к расшифровке дискурсов, «основанных на мифах». Подобный анализ стремится осмыслить долгосрочные исторические феномены не только с учетом политических или экономических факторов. Он открыто опирается на литературу и «культуру» в широком смысле, понимаемую в данном случае как художественные формы репрезентации (литература, исполнительские искусства, музыка и т.д.), а также на общественные дискуссии в газетах и журналах [Grabowicz 2005: 313]. Грубо говоря, этот «культурный поворот» в рамках как истории, так и городских исследований тесно связал оба эти поля¹.

Однако интерес к культуре не ограничивается искусствами, но смещается от преимущественно олимпийского, смотрящего как бы «сверху вниз» исследования национального государства. Это приводит историю на территорию антропологии и социологии, особенно тогда, когда речь заходит о таких перспективах «снизу вверх», как живой опыт и повседневность, причем документальная часть основывается на материалах интервью и «классических» архивных источниках². Помимо всего прочего, эти подходы отчетливо свидетельствуют о более высоком статусе, который приобрела за последнее десятилетие устная история, и о ее включении в историографический мейнстрим.

Количество работ о Львове, написанных с этих позиций, невелико, отчасти потому, что этнические меньшинства, кроме потомков русских жителей, насчитывают в настоящее время менее 2 % населения, а людей, обладающих живыми воспоминаниями об эпохе, предшествовавшей 1945 г., еще способных дать интервью, совсем немного³. Тем не менее ощутимая тенденция к такой форме исследования города видна в работах, посвященных «повседневности» и опыту жителей, особенно она заметна у нынешних украинских аспирантов⁴.

Существование в Львове с 2006 г. негосударственного «Центра городской истории Центральной и Восточной Европы», орга-

¹ «Если особый характер городской истории как дисциплины больше нельзя продемонстрировать со всей отчетливостью, это следует отнести на счет изменений в природе самой исторической науки, а не какого-либо кризиса доверия к правомерности маленького или большого города как объекта исторического исследования. “Культурный” поворот <...> помог уничтожить границы между множеством разных поджанров истории, и не только городской» (Roey Sweet, 'Urban History', <http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/urban_history.html>).

² В блестящей работе Уендланд [Wendland 2005] речь идет о «культуре повседневности» в противоположность явлениям, связанным с государством, хотя исследование основано на архивных документах, в которых зафиксированы анализируемые факты, а не на интервью.

³ См.: [Sabic 2007].

⁴ Диссертанты Киево-Могилянской академии Оксана Винник и Катерина Рубан.

низации, поддерживаемой частным научным фондом, также стало импульсом для исследований, включающих точки зрения «снизу вверх» в широкий контекст. В частности, это происходит благодаря семинарам Центра, в работе которых участвуют молодые ученые, а также благодаря проекту «Интерактивный Львов», который подается как сетевая, интерактивная историческая карта города Львова.

Цель карты заключается в том, чтобы представить современный, живой город в его историческом измерении, а не воспроизводить статичный образ прошлого¹. Проект включает исторические тексты, касающиеся улиц и зданий, биографий жителей прошлых лет, архивные материалы, планы и фотографии, а также повествования о фактах, совершенно намеренно не имеющие упоминаний о национальной принадлежности. Следствием этого является акцентирование неоднородного характера городской истории Львова, что гармонирует с описанными выше тенденциями и вместе с «прожитыми жизнями» контрастирует или никак не соотносится с большими политическими процессами на государственном или субгосударственном уровне.

Важным параллельным процессом за последние десять лет стал колоссальный рост числа исторических исследований, посвященных «памяти», которую можно истолковать как «культурная память», т.е. относящаяся к избирательному порождению памяти государством или небольшими политическими образованиями (такими как городской совет) для политических целей настоящего. Другим случаем является так называемая «социальная» память. Социальная форма памяти иногда обозначает сумму зафиксированных воспоминаний конкретных людей, включенных в данную систему координат. Она со всей очевидностью является внутренне гораздо менее цельной и недифференцированной, чем форма памяти, порождаемая «наверху», государством. Может она пониматься и как коллективное воздействие воспоминаний безотносительно к «официальной версии» (а иногда и в прямом противоречии с ней)².

Этот интерес к памяти (как «официальной», так и персональной, лишенной систематичности), а также к взаимодействиям между этими явлениями обладает очевидной значимостью для исторического изучения Львова и похожих на него городов, особенно с учетом их этнически гетерогенной политической истории. Тема «памяти» непосредственно важна также для исследования памятников и мемориальной культуры, т.е. сферы,

¹ <<http://www.lvivcenter.org/en/lia/>>.

² Об этом существует большая исследовательская литература, ее обзор см.: [Caldicott, Fuchs 2003].

внутри которой властные действующие лица (региональные, городские или общегосударственного масштаба), а также группы людей, действующие помимо законодательной власти, стремятся придать репрезентативную, «конкретную» форму определенным представлениям об истории.

На сегодняшний день существует значительная исследовательская литература, посвященная этим явлениям в Восточной Европе. В ней затронут целый ряд проблем (от практических до символических аспектов мемориальной культуры) и в немалой степени селективный и пристрастный характер памятников как свидетельство присутствия современных идеологий и их подхода к истории¹. Это еще один аспект современной (культурной, а также политической) истории, где Львов снова продемонстрировал свой парадигматический характер.

Различные тенденции, касающиеся переименования улиц, были тщательно каталогизированы в качестве репрезентаций националистических ценностей польского и украинского режимов, а также советских ценностей эпохи долгого междуцарствия 1945–1991 гг. [Hrytsak, Susak 2003: 151–156]. Предметом исследования стали многообразные волны строительства монументов в городе после 1991 г. [Rossolinski 2008: 111–113]. Однако именно это обращение к памяти демонстрирует значительные расхождения в деталях между конкретными случаями, несмотря на структурное сходство самих по себе «исследований памяти», а также используемых ими методологий.

Одним из недавних заслуживающих внимания эпизодов столкновения официальной, «культурной» памяти и памяти социальной стало восстановление в 2005 г. польского военного сектора на самом большом и наиболее представительном кладбище города, Лычакове. По-видимому, в данном случае официальная версия памяти — о польско-украинском примирении — опередила чувства многих жителей Львова, большинство из которых были против восстановления; однако «восточная политика» Польши и прозападный курс Ющенко совпали в одной точке — имплицитно антисоветской (а по умолчанию, защитной антироссийской) позиции, подтвержденной в речах обоих президентов, подчеркивавших «взаимозависимость» двух стран как необходимое средство, гарантирующее их свободу².

Перед тем как перейти к более общей дискуссии о статусе дисциплины, я хотел бы посвятить следующий раздел нескольким

¹ См, напр.: [Lahusen 2006; Crowley 2003 (особенно гл. 1, 'Monuments in Ruins', P. 17–97); Nadkarni 2003].

² Речь президента Квасьневского: <<http://www.president.pl/x.node?id=6042902&eventId=2526680>>.

специфически местным случаям, важным для исторического изучения Львова. Первое, быть может очевидное, заключается в том, что, несмотря на преобладание недавних работ, отражающих происходящие в науке процессы и вполне созвучных (западным) методологиям, историография Львова начиная с 1991 г. отнюдь не была сплошь «политически корректной». Действительно, в соответствии с другими центрально- и восточно-европейскими тенденциями, «национальная» (если не, строго говоря, «националистическая») точка зрения на прошлое города — а именно, позиция, отдающая предпочтение рассказу о прошлом города с использованием исключительно моноэтнической оптики — оказывалась, по всей видимости, преобладающей до совсем недавнего времени в наиболее важных публикациях, посвященных культуре и истории¹. Это же верно и в отношении многих агиографических, биографических или других текстов личного характера, писавшихся и публиковавшихся в Польше до конца коммунистического режима.

Во всех работах (как в западных, так и в местных), авторы которых добросовестно стремятся выстроить полиэтническую историю Львова, остается некое «слепое пятно» — о советском периоде львовской истории². Это несколько умаляет претензии на создание целостной истории, независимо от того, насколько громогласно эти претензии были высказаны. По моему мнению, понимание того, как «мультикультурализм» был обставлен в недавней публичной дискуссии, прошедшей в городе, дает важные указания на то, как интерпретировать эти явления. Для того чтобы это показать, я очень кратко остановлюсь на примерах из историографии, на публикациях вроде львовского журнала «Жи», посвященного культуре, инициативах городского совета (культурные фестивали, кураторская стратегия исторического музея), а также на том, как рассказывают местную историю на многоязычном портале <www.lviv.ua>. Из-за ограниченного объема буду краток³.

Вслед за первоначальной волной национализации в публичном пространстве Львова после 1991 г., что вполне совпадало

¹ Как продемонстрировано трехтомной хроникой львовской истории, опубликованной в 1996 г.: [Исаевич, Стеблій, Литвин 1996].

² Эта тема особо затрагивалась Тариком Сирилом в его докладе «L'viv's Ukrainian Memories after 1991», прочитанном на конференции CEELBAS «Politics, Economics and Culture of Eastern Europe», прошедшей в декабре 2008 г. в колледже Св. Антония, Оксфорд. Амар сообщает о существовании 46 мемориалов, созданных в Львове после 1991 г. и посвященных жертвам советских репрессий. Херцинг, Милевска и Вас отмечают отсутствие мемориала, посвященного «Великой патриотической войне»: [Herzing, Milewska, Was 2008: 72].

³ Более подробный разговор об этом см. в моем рабочем докладе '(Back) Towards a Hyphenated Identity? Recent Academic and Cultural Discourses on L'viv's "Multicultural" Past' (Oxford 2009).

с процессами в Центральной и Восточной Европе (переименование учреждений и улиц, создание и уничтожение памятников, отражавших националистическую версию истории¹), в исторической дискуссии, а также в некоторых сферах публичной жизни возник подчеркнутый интерес к габсбургскому прошлому города. Явно избегая любых ассоциаций с советским периодом и межвоенным польским режимом, это явление, получившее название галицийской ностальгии, не обошло стороной и некоторых ученых, главным образом из Польши и Австрии².

В статье, опубликованной восемь лет назад, Андрий Заярнюк писал о свойственной украинским историкам этого типа тенденции использовать габсбургское наследие Западной Украины для того, чтобы подчеркнуть политическую зрелость и культурное превосходство этого региона по сравнению с другими областями страны. Он привел в качестве примера статьи львовского историка Ярослава Расевича, а также такие публичные мероприятия, как празднование в 2000 г. 170-й годовщины со дня рождения австрийского императора Франца-Иосифа [Zayarnyuk 2001].

Его наблюдение относительно стремления этой точки зрения к нормативности довольно точно, однако, по моему мнению, он отнесся с недостаточным доверием к ее европофильскому характеру, а также к проявлениям галицийской ностальгии в коммерциализированной, фетишизированной форме, которая за последние годы становится все более и более заметной в центральных районах Львова. Особенно бросается в глаза наличие тематических кафе, которые Заярнюк ошибочно отметил в качестве слишком дорогих для местных жителей. Между тем благодаря количеству и заметности они производят впечатление как на случайных посетителей, так и на местных жителей, независимо от их платежеспособности или желания стать постоянным клиентом, своей навязчивой (в духе тематических парков) ностальгической стилистикой³.

¹ О спорах, связанных с Бандерой, а также о противоречивом статусе монумента см.: [Rossolinski 2008: 111–113].

² См. обсуждение этого явления одним из защитников галицийской «ностальгии»; здесь заметно напряжение между локальной и национальной идентичностями в дискурсе галицийской идентичности: [Hrytsak 2005a]. О галицийской «ностальгии» как ложном ощущении гармонии между этническими группами, тогда как литература эпохи фиксирует ненависть к монархии и «эзотерическому» еврейскому образу жизни, см.: [Isaievych 1994: 43–44].

³ Опять-таки я не соглашусь с Заярнюком (чья статья устарела лет на восемь), что они на самом деле по большей части являются польскими: только одно является откровенно польским, остальные тематически — украинско-габсбургско-еврейскими. В качестве примеров можно привести предсказуемые и кажущиеся вездесущими тематически «габсбургские» венские заведения вроде «Виденска», «Кукерня», «Свит Кавы», «Вероника», «К+К» (т.е. *kaiserlich und königlich*, императорский и королевский — официальное обозначение государственных учреждений Австро-Венгерской

Здесь было бы полезно вспомнить введенное Светланой Бойм различие между разными типами ностальгии: рефлексивным, т.е. подталкивающим к критическому отношению, и восстанавливающим, более регрессивным вариантом [Boym 2001]. Второй тип более отчетливо представлен в коммерческом мире Львова, поскольку критическая позиция оказывается отсутствующей — помимо простого воссоздания атмосферы Диснейленда, нацеленной на то, чтобы вызвать в памяти и, видимо, даже ритуально «разыграть» Запад¹. Однако в этом случае «ностальгия» не нацелена ни на живой опыт, ни на советские времена, но лишь — совершенно отчетливо — на несоветские или антисоветские линии городской истории.

Из-за ограниченного объема текста я не могу подробно обсуждать этот предмет, но замечу, что подобные публичные практики, даже будучи лишенными систематического характера, усиливают доминирующий тренд — дискурс галицийского возрождения, присутствующий также в историографии и журналистике. Замечательным примером, который приводит Заярнюк, является «Жи», журнал о культуре, печатающийся в Львове. Его название восходит к букве украинского алфавита, отсутствующей в русском [Zayarnyuk 2001: 19–20]².

Журнал выходит от двух до четырех раз в год и посвящен современной тематике, причем каждый номер — отдельной теме, но при этом с особым упором на европейскую «идентичность» Галиции и Львова. Оглавление составлено в программном ключе и отражает контуры «галицийского» возрождения, подчеркивая смешанное «европейское» наследие Львова и региона. Опубликованы специальные номера, посвященные еврейской Галиции (сентябрь 2007), еврейскому Львову (март 2008), польскому Львову (ноябрь 2008), отношениям Евросоюза и Украины (декабрь 2007). Журнал публикует тексты западных писателей и ученых, а также переиздает литературные произведения, написанные в эпоху габсбургской Галиции; редактор журнала Тарас Возняк является видным местным публицистом³.

империи); гостиница «Вена», ресторан «Амадеус», а также кафе «Захер-Мазох», недавно открытое в честь немецкоязычного писателя (1836–1895), родившегося и работавшего в Львове.

¹ Данное явление в некотором смысле аналогично «ностальгии» в Германии, которая возвращается вокруг фетишизации продукции массового потребления из бывшего ГДР. Об «ностальгии» и ее сложной динамике, включая разрыв между Востоком и Западом и фетишизацию массовой продукции с использованием примеров из кинокультуры, см.: [Enns 2007].

² «Жи» появился за два года до падения СССР, а позднее начал процветать благодаря финансовой поддержке Фонда Генриха Белля; на сегодняшний день его присутствие заметно в газетно-журнальных киосках в центре Львова (я не смог выяснить, каков тираж издания).

³ Как кажется, позиция, которую занимает «Жи», находится между рефлексивной и восстановительной формами ностальгии, поскольку журнал находится в русле «галицийской» дискурсивной системы координат. Этот феномен в целом отчетливо пересекается с возрождением дискуссии о «Центральной Европе», начавшейся в конце 1980-х гг.

Одним из результатов этого «галицийского» возрождения, вкуче с растушими потоками туристов (особенно из Польши и бывшего Советского Союза), стало то, что теперь публика гораздо лучше представляет себе поликультурное наследие города. Это явно выходит за рамки исключительно восстанавливающей ностальгии. На праздничных мероприятиях, организованных городским советом в 2006 г. и посвященных 750-й годовщине города, поликультурное наследие Львова было подано в формах коммерциализированной ностальгии, причеи этот мультикультурализм был отнесен исключительно в область прошлого и представлен в качестве «европейского» наследия не без пристрастности и избирательности.

С одной стороны, были организованы специальные экскурсии по польскому и еврейскому Львову; был придуман новый городской логотип для иностранных туристов. На нем изображены пять стилизованных башен, репрезентирующих городскую ратушу, армянский собор, польский собор, бернардинский монастырь, а также собор Успения Богородицы. На сайте городского совета объясняется, что этот логотип «символизирует богатое архитектурное наследие города, многообразие культур, народов, связей, существовавших в городе с самого его основания»¹. Вместе с девизом («Открытый миру») логотип и события 2006 г. свидетельствуют о новом официальном признании поликультурного прошлого города.

С другой стороны, помимо экскурсий, мы не найдем упоминаний о значимом еврейском наследии Львова. До известной степени это довольно точное отражение тупиковой ситуации с еврейской культурной памятью в Львове, что символизирует отсутствие центральной синагоги Золотой Розы. Таблички сообщают, что она была разрушена нацистами в 1942 г., на этом месте все еще остается зияющая дыра, дебаты о возможном восстановлении синагоги продолжаются².

Советский период львовской истории по-прежнему замалчивается. Кажущийся мультикультурализм обращен к прошлому специфически. Внимательный взгляд на исторический раздел сайта городского совета показывает, что «празднования», связанные с другими этническими группами, идя в русле целена-

¹ <<http://www.lviv.ua/en/page1.html>>.

² В своем недавнем исследовании бывшей еврейской Галиции Омер Бартов приходит к резким выводам относительно причин подобного невнимания и указывает на попытку в советском стиле приукрасить то, что касается именно жизни евреев при нацистах и большевиках (см.: [Bartov 2007: 15]). О мемориале в бывшем концлагере Яновска, где также не упоминается о еврейской трагедии (речь идет просто о «невинных людях»), он пишет: «Этот текст дает возможность местному населению “присвоить” этот концлагерь себе, а не той категории людей, чья история в значительной степени оказалась стертой из публичной и коллективной памяти» [Ibid: 30–31].

правленной европейской политики Львова и представлений города о самом себе, ограничиваются признанием роли других народов данного региона в качестве гостей или случайных участников в большом украинском сюжете [Herzing, Milewska, Waş 2008: 76]. Это подчеркивает как бесконечное варьирование лозунга «Наш Львів — наше місто» (Наш Львов — наш город), так и первые параграфы текста о львовской истории на сайте.

Текст перепрыгивает через четыре века польского правления и межвоенный период с тем, чтобы подчеркнуть особо выгодное местоположение города на путях торговли между Востоком и Западом. О габсбургской эпохе говорят как об эре технологического прогресса, а советский режим упоминается в качестве тоталитарной интерлюдии.

Особый упор сделан на следующем утверждении: «С первых дней украинской независимости Львов приобрел статус культурной и духовной столицы украинского государства»¹. С этой точки зрения, нынешний нарратив «мультикультурализма» не противоречит старому нарративу украинского патернализма². Те же приоритеты в Львовском историческом музее, экспозиция которого посвящена борьбе за украинскую независимость³. Та же тематика и в новом школьном курсе (его изучают по желанию) *львовознавства*, который посвящен истории и культуре Львова. Курс возник после введения в 1993 г. в общегосударственном масштабе *українознавства*.

Неукраинские ученые Херцинг, Милевска и Вас изучили основное учебное пособие по данному предмету и сделали следующие выводы: текст является шагом в направлении признания поликультурного наследия, однако сделано это с патерналистской точки зрения. Название учебника опять-таки является эмблематическим — «Наше місто — Львів». Этот лозунг снова поднимает вопрос о том, «чей Львов», и предполагает исключительно его нынешних жителей [Herzing, Milewska, Waş 2008: 76]. Безусловно, есть и другие примеры, однако я выбрал наиболее представительные.

Возвращаясь к большой теме городской истории, можно было бы подумать еще раз о номинально репрезентативном статусе

¹ <<http://www.lviv.ua/en/tourism/history/>>.

² Можно сравнить этот нарратив с ситуацией в Польше, где осознанный филосемитизм (также при отсутствии еврейской общины) используется в коммерческих целях польскими предпринимателями. Например, прославленный ресторан «Pod Samsonem» на улице Фрета, на краю совершенно музейного (восстановленного) «Старого города» Варшавы. О динамике памяти в городском пространстве Варшавы см.: [Crowley 2003].

³ Я посещал его в сентябре 2005 г. и в июле 2008 г.; за прошедший период экспозиция не претерпела никаких перемен, несмотря на финансировавшиеся городским советом празднества по случаю 750-летия основания города, прошедшие в 2006 г. под «мультикультуралистскими» лозунгами.

Львова. Как свидетельствуют недавние исследования, с обзора которых я начал статью, работы о Львове характеризуются методологическим новаторством и эволюцией в сторону междисциплинарности, свойственные истории города вообще. Однако с точки зрения содержания, тематики, я думаю, существует опасность воспроизвести — может быть, бессознательно — тот тип внутригородского разговора об истории, который был описан в последнем разделе статьи. Будучи номинально «поликультурным» и прогрессивным по своей тональности, этот тип разговора не свободен от важных лакун, особенно когда речь заходит о советском прошлом. Насколько такой подход верен в том, что касается других городов данного региона, — судить специалистам, однако я подозреваю, что Львов может, что не лишено иронии, оказаться «парадигматическим» и в этом отношении.

Библиография

- Ісаєвич Я., Стеблій Ф., Литвин М.* (ред.) Львів. Історичні нариси. Львів: Інститут українознавства, 1996.
- Anderson B.* Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 2nd edn. L.; N.Y.: Verso, 1991.
- Bartov O.* Erased. Vanishing Traces of Jewish Galicia in Present-Day Ukraine. Princeton: Princeton University Press, 2007.
- Boym S.* The Future of Nostalgia. N.Y.: Basic Books, 2001.
- Briedis L.* Vilnius. City of Strangers. Budapest; N.Y.: CEU Press, 2009.
- Caldicott E., Fuchs A.* Introduction // E. Caldicott, A. Fuchs (eds.). Cultural Memory. Oxford: Peter Lang, 2003. P. 11–32.
- Crowley D.* Warsaw. L.: Reaktion, 2003.
- Czaplicka J.* (ed.). Lviv: A City in the Crosscurrents of Culture. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005a.
- Czaplicka J.* L'viv, Lemberg, Leopoldis, Lwów, Lvov: A City in the Crosscurrents of European Culture // J. Czaplicka (ed.). Lviv: A City in the Crosscurrents of Culture. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005b. P. 13–45.
- Davies N., Moorhouse R.* Microcosm: A Portrait of a Central European City. L.: Jonathan Cape, 2002.
- Enns A.* The Politics of Ostalgie: Post-Socialist Nostalgia in Recent German Film // Screen. 2007. Vol. 48. № 4. P. 475–491.
- Ebsenschade R.* Remembering to Forget: Memory, History, National Identity in Postwar East-Central Europe // Representations. 1995. № 49. P. 72–96.
- Fäßler P., Held Th., Sawitzki D.* (eds.). Lemberg — Lwów — Lviv. Eine Stadt im Schnittpunkt europäischer Kultur. Cologne: Böhlau, 1995.
- Fuhrmann K., Tomicka O., Turowska J.* Von der Mehrheit zur Minderheit. Polen in Lemberg nach 1945 // L. Henke, G. Rossolinski, Ph. Ther

- (eds.). Eine neue Gesellschaft in einer alten Stadt. Erinnerung und Geschichtspolitik in Lemberg anhand der Oral History. Wrocław: ATUT, 2008. P. 141–159.
- Grabowicz G.* Mythologizing L'viv / Lwów // J. Czaplicka (ed.). Lviv: A City in the Crosscurrents of Culture. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005. P. 313–342.
- Guarnizo L.E., Smith M.P.* The Locations of Transnationalism // L.E. Guarnizo, M.P. Smith (eds.). Transnationalism from Below. New Brunswick: Transaction, 1998. P. 3–34.
- Herzjng J., Milewska A., Wqs M.* Lemberg aus der Sicht der Oral History und der historischen Stadtanthropologie // L. Henke, G. Rossolinski, Ph. Ther (eds.). Eine neue Gesellschaft in einer alten Stadt. Erinnerung und Geschichtspolitik in Lemberg anhand der Oral History. Wrocław: ATUT, 2008. P. 69–88
- Hrytsak Y.* Crossroads of East and West: Lemberg, Lwów, L'viv on the Threshold of Modernity // Austrian History Yearbook. 2003. P. 103–109.
- Hrytsak Y.* Historical Memory and Regional Identity among Galicia's Ukrainians // Ch. Hann, P.R. Magocsi (eds.). Galicia. A Multicultural Land. Toronto: University of Toronto Press, 2005a. P. 185–209.
- Hrytsak Y.* Lviv: A Multicultural History through the Centuries // J. Czaplicka (ed.). Lviv: A City in the Crosscurrents of Culture. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005b. P. 47–74.
- Hrytsak Y.* National Identities in Post-Soviet Ukraine: The Case of L'viv and Donetsk // Z. Gitelman et al. (eds.). Cultures and Nations of Central and Eastern Europe. Essays in Honor of Roman Szporluk. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000. P. 263–277.
- Hrytsak Y., Susak V.* Constructing a National City. The Case of L'viv // J. Czaplicka, B.A. Ruble, L. Crabtree (eds.). Composing Urban History and the Constitution of Civic Identities. Baltimore; L.: John Hopkins University Press, 2003. P. 151–156.
- Isaievych Y.* Galicia and Problems of National Identity // Austrian Studies. 1994. 5. P. 37–45.
- Judson P.* Guardians of the Nation: Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria. Boston: Harvard University Press, 2007.
- Lahusen Th.* Decay or Endurance? The Ruins of Socialism // Slavic Review. Winter 2006. Vol. 65. № 4. P. 736–746.
- Magocsi R.* The Roots of Ukrainian Nationalism: Galicia as Ukraine's Piedmont. Toronto: University of Toronto Press, 2002.
- Nadkarni M.* The Death of Socialism and the Afterlife of its Monuments: Making and Marketing the Past in Budapest's Statue Park Museum // K. Hodgkin, S. Radstone (eds.). Contested Pasts: The Politics of Memory. L.: Routledge, 2003. P. 193–207.
- Pyrah R., Turda M.* (eds.). Re-Contextualising East Central European History. Nation, Culture and Minority Groups. L.: Legenda, 2010.
- Rossolinski G.* Bandera und Nikifor — Zwie Modernen in einer Stadt. Die “nationalbürgerliche” und die “weltbürgerliche” Moderne in Lem-

- berg // L. Henke, G. Rossolinski, Ph. Ther (eds.). Eine neue Gesellschaft in einer alten Stadt. Erinnerung und Geschichtspolitik in Lemberg anhand der Oral History. Wrocław: ATUT, 2008. P. 109–124.
- Sabic C.* “Ich erinnere mich nicht, aber L’viv!” Zur Funktion kultureller Faktoren für die Institutionalisierung und Entwicklung einer ukrainischen Region. Stuttgart: ibidem, 2007.
- Ther Ph.* Die Bühne als Schauplatz der Politik. Das Polnische Theater in Lemberg 1842–1914 // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 2003. 52. P. 543–571.
- Wendland A.V.* Neighbors as Betrayers: Nationalization, Remembrance Policy, and the Urban Public Sphere in L’viv // Ch. Hann, P.R. Magocsi (eds.). Galicia. A Multicultural Land. Toronto: University of Toronto Press, 2005. P. 139–159.
- Wendland A.V.* Semper fidelis: Miasto jak narodowy mit polaków i ukraińców (1867–1939) // H. Żaliński, K. Karolczak (eds.). Lwów, Miasto, Społeczeństwo, Kultura: Studia z dziejów Lwowa. Krakow: Wydawnictwo Naukowe WSP, 2002. Vol. 4. P. 263–273.
- Żaliński H., Karolczak K.* (eds.). Lwów, Miasto, Społeczeństwo, Kultura: Studia z dziejów Lwowa. Krakow: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1995–2002. 4 vols.
- Zayarnyuk A.* On the Frontiers of Central Europe: Ukrainian Galicia at the Turn of the Millennium // Spacesofidentity. 2001. 1. P. 14–34. <<https://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/soi/article/view-File/8053/7230>>.

Перевод с англ. Аркадия Блюмбаума

ДЬОРДЬ ПЕТЕРИ

Урбанизм, модерність, державний соціалізм, вплив суб’єкта історії на обставини — практики приватного життя і повсякденності в угорських містах

Ключовою проблемою західних міст є автомобілізм, який — особливо в разі розвитку американських міст — впливає на прийняття рішень щодо планування та інфраструктури, сприяючи децентралізації традиційних поселень. Це процес, якому лише в незначительній ступені перешкодили нафтовий кризис кінця ХХ в., а також негативні наслідки великої кількості автома-

Дьордь Петери (György Péteri)
 Норвежский университет науки
 и технологии,
 Трондхейм, Норвегия
 gyorgy.peteri@ntnu.no

шин, находящихся в частной собственности — автомобильные пробки¹. Как отмечает целый ряд специалистов, в частности Льюис Сигельбаум [2008], в социалистических странах эти процессы начались позднее, чем в США и Западной Европе. Только в 1960-х гг. в центральном планировании этих стран происходит переход от стопроцентной приверженности общественному транспорту (когда автомашины рассматривались как транспортные средства, используемые на официальном уровне) к представлению об автомашине как транспортном средстве для поездок по городу и за город (не случайно, что приблизительно в это время мощными темпами развиваются загородные территории, возможности для такого досуга, как охота и катание на лыжах, а также дачное строительство)². Между тем процессы автомобилизации в социалистических странах происходят не так, как в западных городах, поскольку доступ к автотранспорту все еще довольно сильно ассоциируется с обладанием государственным статусом.

Мои краткие заметки являются исследованием исторической социологии городского развития, и посвящены они ситуации в Венгрии, точнее говоря, ключевой роли, которую в процессе автомобилизации играли правила пользования автомашинами среди партийных чиновников высшего и среднего звена, остававшихся наиболее важной группой автомобилистов до самого конца социалистического режима. Помимо автомобилизма как такового я также обращаю внимание на ключевую роль социального статуса в развитии социалистического города (обычно утверждают прямо противоположное — например, указывая на особый характер социалистического города, где отсутствовало зонирование на социальной или этнической основе).

Исследование пользования автомашинами в городе тесно связано с пониманием государственного социализма как проекта *альтернативной модерности*, т.е. полномасштабной попытки создать цивилизацию, которая была бы реализуемой и даже превосходящей своего соперника альтернативой капитализму. Вместо традиционного исследования дискурсов и политических стратегий я обращусь к практикам частной жизни и повседневности. Это рутина, которую на разных жизненных путях вырабатывают и сохраняют люди, когда сталкиваются

¹ См, например: [Rammert 1997: 186]. Автор отмечает влияние «тесных взаимоотношений между производителями автомашин и поставщиками, тесного переплетения транспортной и налоговой политики, длительной традиции создания массового автомобиля <...>, а также массового мифа и массовой практики, “автомобилизма”» на технологическое развитие города, «хотя автомобильная система была глубоко потрясена кризисами нефтяных поставок, загрязнением воздуха и пробками».

² О загородных поездках в Советском Союзе см.: [Lovell 2003].

с необходимостью жилья, мобильности, различных сфер домашнего быта, заботы о подрастающих поколениях, а также когда ищут и находят убежище от повседневности (досуг, отпуск, дачи и т.д.).

Мы могли бы перечислить несколько достойных причин для того, чтобы исследовать прежде всего практики частной жизни и повседневности, отнюдь не пренебрегая при этом политической и дискурсами, даже когда разговор идет о таких сферах исследования Нового времени, как историческая урбанистика. Наиболее существенное интеллектуальное преимущество заключается в том, что подобные исследования делают доступным для нас участие людей в выстраивании городской жизни Нового времени. Тенденции, характеризующие города Нового времени, основываются на выборе, который делают люди и группы людей, а также на рутине, которой они следуют, а не на каком-то таинственном «взаимодействии» между различными технологиями и политико-идеологическими тенденциями в различных «отделах» городского планирования.

Повседневные практики групп, обладающих значительной долей экономических, социальных и культурных ресурсов в любой момент времени, приобретут дополнительную значимость благодаря влиянию, которое они оказывают на остальное общество, чьим желанием по большей части оказывается догнать и вступить в соперничество. Действительно, частная жизнь элиты, ее практики повседневности способствуют формированию общества в той же мере (или даже в большей степени), что и сформулированные элитой политико-идеологические представления о том, чем должно быть «достойное общество». Понимание того, какой тип общества был вписан в повседневную жизнь коммунистических элит, обладает еще большей значимостью, поскольку они культивировали такой образ себя, который представлял их радикальным, расширяющим границы авангардом, нацеленным на преобразования.

Краткое описание находок моего недавнего исследования, посвященного мобильности партийного аппарата коммунистической Венгрии¹, сделает эти вещи более ясными и осязаемыми. В конце 1957 г. общее число персональных автомашин в Венгрии (в стране приблизительно с 10-миллионным населением) было менее 13 000. Около трети этих автомобилей (3980) находилось в частных руках. К 1980 г. доля частных автомашин достигла 97 % при общем числе свыше 1 млн частных автомобилей. На начальном этапе этого короткого промежутка времени (1957–1980) главные планировщики еще могли обдумыв-

¹ Ср.: [Péteri 2009; Péteri, in preparation].

вать и утверждать альтернативные пути развития современной мобильности. В 1960 г. плотность личных автомобилей (количество авто на 1 тыс. жителей) в Венгрии составляла 3. В Франции она была выше в 40 раз, в Англии — в 33 раза, в Бельгии — в 27, в 19 раз — в Австрии, в 15 — в Нидерландах и в 11 — в Италии.

«Моторизация» через рост числа частных автомашин все еще была отдаленной возможностью, а не необходимостью. Другими словами, конец 1950-х гг. все еще был временем, когда альтернативная (отчетливо *социалистическая*) модернность в том, что касалось структуры и «модуса» мобильности (упор на общественный транспорт и одновременно шаги навстречу требованиям индивидуальной мобильности через хорошо развитую службу такси и компаний, дающих машины напрокат, вместо частных автомобилей — так Хрущев представлял себе социалистическую «моторизацию»), могла по праву рассматриваться в качестве воплотимой в жизнь. Однако к 1970–1980-м гг. инерция частного массового автомобилизма приняла поразительные масштабы. Находящиеся в частной собственности автомашины составляли наиболее быстро растущий сектор личного транспорта уже в 1960-х гг., а их доля в общем числе персональных транспортных средств выросла с 4,3 % в 1950 г. до более чем 26 % к 1972 г.

Это подстраивание (или конвергенция) «социализма» к «капитализму»¹ в том, что касалось современных структур передвижения (стремительный рост частных автомобилей в 1960-х и 1970-х гг.), можно рассматривать в качестве следствия определенного типа экономической и одновременно технологической стратегии или целенаправленных политических решений. С моей точки зрения, ни одна из этих стратегий не может стать основой для единственно возможного объяснения. Если государственный социализм являлся наиболее рациональным историческим режимом в том, что касается использования ресурсов, частный автомобиль едва ли мог представлять собой серьезную альтернативу амбициозному развитию общественного транспорта. Как уже упоминалось, в случае Венгрии относительная «недоразвитость» страны создавала условия для того, чтобы развиваться в альтернативном направлении. Политические решения не могут творить чудеса без социальных практик, в рамках которых возникают, поддерживаются и могут умножаться определенные устойчивые структуры.

Пытаясь найти объяснение этому «характерно несоциалистическому» типу модернизации (а также неудачной попытке

¹ Поразительное сходство между западно- и восточно-германской моторизациями является важной темой в: [Schmucki 2003].

утверждения «социалистического способа потребления»), я обратился к исследованию повседневных практик передвижения, принятых в сегменте общества, который составлял ядро коммунистического политического класса: среди представителей аппарата Венгерской Социалистической рабочей партии (ВСРП), от уровня районных комитетов и до «Белого Дома» на площади *Jászai Mari* (партийная штаб-квартира, где располагались офисы аппарата Центрального комитета).

Массив моих источников состоял из документов отдела партийной экономики и административного управления ЦК ВСРП за 1956–1980 гг. По всей вероятности, это наименее известный из отделов аппарата ЦК; в его задачу входили забота и контроль над внутренним экономическим и административным управлением центральных, региональных и районных парторганизаций. Отдел наблюдал за развитием менеджмента (включая зарплаты и доходы) партийного аппарата, а также следил за экономической деятельностью партийного аппарата в общенациональном масштабе, включая планирование ежегодного бюджета ВСРП. Деятельность отдела включала контроль над соответствующим использованием и бухгалтерией денежных и других материальных ресурсов различных парторганизаций и даже вопросы, относящиеся к соцобеспечению партаппарата.

Среди функций отдела фигурировала и гарантия должной инфраструктуры, обеспечивающей мобильность аппарата на всех уровнях, включая автомобильную инфраструктуру (автомобильные, гаражи, ремонт и другое обслуживание автопарка). Централизованным образом сотрудники отдела занимались обеспечением и распределением автомашин среди областных, городских и районных партийных организаций. Они вырабатывали правила эксплуатации машин (и других транспортных средств) партийными организациями. Кроме того, в их обязанности входили регулярные контроль и отчет о практиках мобильности (что наиболее существенно — об использовании автомашин) в самых разных районных, региональных и центральных партийных органах.

Отдел осуществлял всесторонний контроль над экономическим администрированием (почти всегда это включало практики, относящиеся к эксплуатации автомашин), ежегодно инспектируя по крайней мере треть всех провинциальных партийных организаций (18 провинций и партийный Комитет столичного Будапешта). Кроме того, его сотрудники нередко инспектировали различные отделы самого аппарата Центрального Комитета. Корпус отчетности, собранной в процессе осуществления этих контрольных функций за четверть века, со-

ставляет самую большую часть эмпирического материала, который я использую в своей работе.

Динамика, которая прослеживается в этих отчетах, говорит о постоянных попытках аппарата «приватизировать» обладание партийными автомобилями, отданными в распоряжение аппаратчиков для служебных целей. Эта ползучая приватизация могла принимать целый ряд разных форм. Говоря лишь о некоторых, мы должны упомянуть использование партийного автомобиля в личных целях благодаря откровенному мошенничеству, т.е. посредством предоставления ложных сведений о поездке в путевых листах¹. Сочетание официальных поездок с досугом, когда в машине ехали также члены семьи должностного лица, являлось широко распространенной тенденцией. В архивах департамента сохранились многочисленные рапорты о странной конвергенции большого количества государственных автомобилей, принадлежавших госчиновникам и аппаратчикам центрального, а также более низких (областных и районных) уровней. Все они отправлялись в июне, июле и августе на озеро Балатон (главный курорт для венгров-горожан).

Это явление не осталось скрытым от остального общества, о чем свидетельствует забавный фильм режиссера Фридьеша Бана. Один из эпизодов картины целиком посвящен «государственному автомобилю» (*állami autó*), который представлен наиболее удобной формой обладания и пользования машиной частным образом за счет государства. По словам повествователя фильма, «поскольку государственный автомобиль работает на государственном топливе, а ведет его шофер, которому также платит государство, ремонт автомобиля и его обслуживание осуществляются за государственный счет. Поэтому нигде в мире нет такого количества государственных машин, как в нашей стране. В этом отношении нам удалось не только догнать, но даже перегнать ведущие капиталистические страны»².

Ползучая приватизация могла принимать форму сопротивления (и систематического саботажа) нормам и мерам, нацеленным на то, чтобы в рамках того или иного отдела партаппарата или между отделами сотрудники все более и более делились автотранспортом. Чем более высокое положение в бюрократической иерархии занимал человек, тем выше были его шансы

¹ Чаще всего социальной основой подобных практик были семейные отношения, которые выстраивались между партийными боссами различных уровней и их шоферами. Я не нашел в документах почти за три десятка лет ни одного случая, когда высокое партийно-экономическое начальство решило бы наказать за подобное злоупотребление.

² *Kár a benzinért!* (Не тратьте бензин!). Режиссер Фридьеш Бан, сценарист Имре Бенчик, студия 3, Будапешт, 1964.

на успех в монополизации пользования автомашиной. Рапорты отдела свидетельствуют о большом количестве случаев, когда инспекторы жаловались на то, что партийные боссы разных уровней (от районных секретарей и выше) не позволяют никому в своем аппарате использовать то, что они считали «своими машинами». Отделы ЦК почти ежегодно получали циркуляры отдела партийной экономики с жалобами на допущенные ими систематические нарушения вроде случайной отправки нескольких автомобилей с одним или двумя пассажирами из одного и того же коридора «Белого Дома» (партийной штаб-квартиры на площади Jászai Mari в Будапеште) в один и тот же провинциальный центр в тот же самый день.

На тенденцию к ползучей приватизации партийные экономические администраторы отвечали половинчатыми мерами, направленными на удовлетворение — внутри четко определенных рамок — «законной необходимости» пользоваться частными автомобилями. Они надеялись на то, что таким образом им удастся сдерживать стремление к незаконной приватизации. К середине 1960-х гг. возникла разработанная до деталей иерархическая система привилегий, внутри которой разным эшелонам класса аппаратчиков (как в партии, так и в государстве) были даны разные права — от права на безлимитный автопробег и круглосуточный доступ к машине для элиты самого высокого уровня и до разрешений, дававшихся аппаратчикам более низких уровней от случая к случаю в связи с большими семейными событиями (рождение, смерть, свадьба).

Важно отметить, что единственным страхом среди аппаратчиков, который был сильнее отвращения к тому, чтобы делиться автомобилями, было пользование общественным транспортом, несмотря на то что отдел партийной экономики стремился поощрять использование общественного транспорта в той же мере, что и практику делиться автомашинами. В 1958 г. расходы аппарата ЦК на общественный транспорт составляли 0,8 % от расходов на персональные автомобили. В 1964 г. эта сумма, равная 1,1 % от автомобильного бюджета, использовалась для коллективных поездок на далекие расстояния, тогда как затраты на местный общественный транспорт в Будапеште равнялись приблизительно 0,6 % от затрат на автомобили. Плановый бюджет аппарата ЦК на 1979 г. предполагал 22 млн форинтов на персональный автотранспорт, в то время как предполагаемые расходы на общественный транспорт были менее 10 тыс. форинтов (0,045 % от затрат на автомобили). Интерпретируя эти цифры, мы можем сказать, что опора на общественный транспорт никогда не являлась важным направлением мобильности аппарата, а также что за время существования государственного социализма в Венгрии эта альтернатива буквально сошла на нет.

Обеспокоенные растущими расходами и оказавшись перед лицом скудных результатов других ограничительных мер, нацеленных на обуздание незаконного пользования партийных машин, экономические администраторы аппарата решили в начале 1970-х гг. ввести радикально новые меры. Одна из них заключалась в том, чтобы разрешать и даже поощрять пользование машиной без шофера, т.е. они хотели, чтобы аппаратчики при наличии водительских прав использовали государственные автомобили самостоятельно. В 1971 г. 15 % от всего пробега (2 563 146 км), который делали аппаратчики ЦК, приходилось на долю самих «партийных работников», без шоферов. Расходы на один километр, пройденный на государственной машине без шофера, были на 25 % меньше, чем с ним.

Поначалу использование машины без шофера являлось привилегией, дарованной членам аппарата ЦК. Однако, ища возможности сэкономить, партийные экономические администраторы решили поощрять эксплуатацию партийных машин без водителей в общенациональном масштабе. Тем не менее эта идея так и не смогла набрать достаточную силу для того, чтобы осуществить какой-либо значительный «прорыв» в этой сфере. Отчасти это объясняется сопротивлением, которое она встретила в некоторых провинциальных партийных организациях. И все-таки в свете скромных, но многообещающих результатов первых «экспериментальных» лет (в 1972 г. 1,2 млн км были пройдены «без водителей» — пробег, соответствующий приблизительно годовой трудовой нагрузке 40–50 профессиональных шоферов), отдел партийной экономики (а за его спиной лидеры партии) решил продвигать эту форму эксплуатации автомобилей посредством двух мер, со всей очевидностью рассчитанных на частные интересы членов аппарата. Было решено, что аппаратчики, которые сами водят государственные машины, должны получить для личных нужд право на пробег, составляющий 10 % от пробега, который они проезжают по служебной надобности без шофера; а последнее решение ЦК по этому вопросу (4 февраля 1980 г.) подняло этот пробег для частных целей до 15 % (максимум 1000 км в год) и предложило в качестве альтернативы возможность прямых денежных выплат членам аппарата, которые будут сами вести партийные машины в случае выполнения ими официальных поручений. Отдел партийной экономии предложил оплатить 50 % расходов на курсы вождения для членов аппарата, если они успешно сдадут выпускные экзамены. Последняя мера вызвала особый энтузиазм со стороны аппарата.

Актуальность идеи «вождения без шофера» среди аппаратчиков, в абсолютных и относительных измерениях, сохранялась до 1976 г. После этого времени никаких новых предложений

в этом отношении не было, и тенденция пошла на спад. Как написано в рапорте, суммирующем результаты инспекции центра, а также провинции в 1976 г., «год за годом мы являемся свидетелями роста использования частных автомашин для официальных целей. Востребованность автомашин без шоферов сходит на нет».

Подлинный прорыв в стремлении остановить рост или даже снизить затраты на мобильность аппарата был достигнут благодаря мере, которая в еще большей степени была обращена к частным интересам аппаратчиков. То, что в 1972 г. казалось небольшим вкладом в тотальную автомобильизацию аппарата (несколько более 1,5 % от общего пробега, делавшегося на партийных автомобилях), к 1976 г. выросло в немалую часть общего пробега, который делался по партийным нуждам. Частные автомобили, принадлежавшие аппаратчикам, пробегали почти 7 млн км (около 75 % от общего пробега, делавшегося на партийных автомобилях), доставляя «профессиональных революционеров» туда, куда они ехали, выполняя свои официальные обязанности. В 1976 г. «в национальном масштабе существовало приблизительно 2000 товарищей, которые регулярно или периодически использовали свои собственные автомобили для служебных надобностей».

В 1972 г. постановление секретариата ЦК об использовании автомашин сделало возможным использование частных автомашин аппаратчиков в неизмеримо большей степени, чем это было возможно ранее. Постановление стало новым мощным стимулом для приобретения аппаратчиками частных автомобилей, позволив награждать функционеров высшего уровня, которые отказывались от прав на использование партийных машин в личных целях, помогая им приобретать частные автомобили (независимо от их обещаний использовать эти машины в дальнейшем в служебных целях). Кроме того, функционеры имели право на приобретение машин вне очереди и на выгодных кредитных условиях, если они были готовы использовать эти машины для служебных нужд.

Постановление породило настоящую лавину приобретения автомашин партаппаратчиками в общенациональном масштабе. За вторую половину 1972 г. и в 1973 г. с помощью отдела партийной экономики они приобрели 1080 автомашин. Областные комитеты уменьшили свой автопарк на 62 автомобиля (11 %). В тот же период центральный партийный гараж Будапешта (Транспортная и технологическая компания) избавился от 23 машин. И хотя общий пробег, делавшийся по служебным надобностям, увеличился с 22,8 (1972) до 23,5 млн км (1973), благодаря значительному росту частных машин (чья доля вы-

росла со 130 тыс. км до более чем 2 млн км между 1972 и 1973 гг.), общие расходы на автопарк партийного аппарата остались на уровне 1972 г.

Отчет о тенденциях 1974 г. показывает, что отдел партийной экономики помог приобрести аппаратчикам 1134 машины, в то время как сокращение автопарка областными комитетами продолжалось и достигло 100 к концу года автомобилей. Отчеты из областей говорят о стремительно растущей «моторизации» партаппаратчиков благодаря увеличению количества машин, находящихся в частной собственности.

В отчетах за 1972 и 1973 гг. указано, что лишь небольшое число аппаратчиков имели машины и использовали их на службе. Однако в дальнейшем число собственников, а также число аппаратчиков, посещавших водительские курсы и использовавших свои машины на работе, стало расти скачкообразными темпами. Помимо оплаты водительских курсов, исключительно благоприятных кредитных условий, а также возможности приобрести автомашину, не стоя годами в очередях (как вынуждены были поступать все остальные жители страны), доступность партийной инфраструктуры (гаражи, авторемонт), обслуживавшей частные машины аппаратчиков по специальным (с господплатами) ценам, существенно увеличила готовность аппаратчиков покупать и использовать частные машины на работе. К 1977 г. результаты стали абсолютно убедительными: партии удалось уменьшить свой автопарк с 948 машин в 1972 г. к 740 в сентябре 1977 г. В то время как пробег партийных автомобилей снизился на 30 %, общий пробег упал лишь на 7,5 %, благодаря все большему использованию частных автомобилей.

«На сегодняшний день в стране в целом 1800–1900 товарищей регулярно или время от времени используют свои собственные автомобили для служебных целей», — с гордостью заявлял глава отдела партийной экономики на общенациональной конференции экономических руководителей партаппарата. Эти машины пробегали 6,2 млн км — средняя годовая норма приблизительно 190–200 профессиональных водителей. Руководство партии больше не сомневалось, что стоит на правильном пути, и хотело и далее поощрять использование частных машин для служебных нужд. Отчасти оно собиралось делать это путем проведения кампании по ежегодной распродаже машин.

В рамках этой кампании отдел партийной экономии ежегодно получал от министерства внутренней торговли около 1200 автомашин. Они распределялись среди аппаратчиков, подавших заявления (последние направлялись в отдел областными партийными комитетами). Это предполагало облегченный доступ аппаратчиков к автомобилям, значительные преимущества по

сравнению с простыми смертными, которые должны были месяцами, а то и годами (в зависимости от того, какую модель автомобиля они хотели купить) ждать. Месяцами и годами, которые проходили между временем, когда они выплачивали полную стоимость машины, и тем моментом, когда они ее получали.

У отдела партийной экономики были особые договоренности и с Национальным сберегательным банком по поводу кредитов на исключительно выгодных условиях (недоступных остальному населению) для аппарата. Сотрудники отдела внимательно отслеживали изменения цен, влиявшие на расходы по приобретению и обслуживанию частных автомашин, и соответственно возмещали эти ценовые колебания, чтобы сохранить заинтересованность аппаратчиков в использовании их частных машин в служебных целях.

И последнее (но не менее важное). Они также хотели продвигать использование частных автомашин для служебных целей «посредством мер, принятых для того, чтобы [организовать] постоянное обслуживание и ремонт машин функционеров ремонтными мастерскими, гаражами областных партийных комитетов и Транспортной и технологической компанией [в Будапеште]».

Этот режим добился того, что почти одновременно ему удалось сохранить автопробег, требуемый для партийных нужд, и при этом дать возможность партаппарату наслаждаться плодами индивидуально-частной мобильности благодаря целостной конверсии затрат на партийные автомобили в выплаты, предназначенные для использования частных автомашин (а также расходы на содержание и обслуживание, выплачивавшиеся из общественных средств). Говоря о десятилетнем опыте функционирования правил, введенных в 1972 г., глава партийной экономической администрации мог с гордостью заявить в 1981 г.: «По сути дела, требование мобильности, выдвинутое аппаратом, было удовлетворено благодаря подключению частных машин. <...> Гораздо эффективнее стало использование рабочего времени политическим аппаратом, работающим на районном уровне. Люди, выполняющие поручения, могут использовать свое время более гибким и эффективным образом. *Неизбежная необходимость ждать друг друга перестала существовать. Благодаря использованию частных автомашин значительно увеличилось даже свободное время функционеров*» [Курсив мой. — Д.П.].

Социальная группа, чьи повседневные практики мобильности мы только что описали, составляла самую сердцевину политического класса и политически наиболее мощный сегмент

социальной элиты при государственном социализме. Нет особых причин полагать, что более внимательное изучение государственной составляющей политического класса при государственном социализме (правительственный аппарат и т.д.) позволит нам сделать находки, существенно отличающиеся от описанного выше. Мы можем предположить, что ценности и точки зрения элиты, проявляющиеся в повседневной жизни, на самом деле влияют на все остальное общество. Обычные люди могли ощущать глубокую подозрительность, когда они слушали политические выступления или читали агитпроповские тексты, однако они сразу же понимали то, что им хотят сказать, когда видели высокий уровень «моторизации» политического класса партийного государства в том, что касалось как большого процента государственных машин в распоряжении аппаратчиков, так и высокой плотности частных авто у этих людей. Они могли сомневаться в легитимности своих правителей, но, не раздумывая, подражали им, когда дело касалось стиля повседневной жизни. Они безусловно разделяли представления власти о том, что такое «достойная жизнь».

Между тем немногие венгры почувствовали бы решимость выступить против коммунистической власти, если бы режим Кадара решил целенаправленно идти по пути полномасштабного развития инфраструктуры общественного транспорта и хрущевской системы пользования общими автомобилями для удовлетворения нужд индивидуальной мобильности. Трудно представить себе, что возможности выживания государственного социализма оказались бы меньше, если бы он решил отдать приоритет и выделить большие суммы на развитие и содержание современной системы коллективной мобильности, или если бы элиты социалистического государства удовлетворяли свои нужды в сфере мобильности, пользуясь общественным транспортом и делясь автомобилями.

Выбор, которые сделали эти элиты в эпоху «долгих 1960-х», обладает исторической значимостью, поскольку он подтвердил неспособность государственно-социалистического социального порядка освободить современное социально-экономическое развитие от «капиталистических» моделей. Именно на уровне повседневных практик мобильности элиты, ставших предметом моего анализа, разрешался вопрос о том, может ли государственный социализм утвердить альтернативную модернность в сфере мобильности, модель, отличающуюся от (а также противостоящую в некоторых отношениях) капиталистической модерности. По всей вероятности, эти практики оказались одним из наиболее мощных механизмов конвергенции «социализма» в «капитализм».

В то же время они способствовали окончательному и бесповоротному изменению городского ландшафта, поскольку частные автомашины требовали инфраструктуры и, что более существенно, поскольку пользование частной автомашиной и принадлежность к городской элите теперь совпали. Возникла ситуация, когда любой человек, который мог пользоваться частным авто, пользовался им, и население рассматривало подобную практику как знак высокого социального положения и успеха.

Не удивительно, что в постсоциалистический период мы наблюдаем еще большее пренебрежение со стороны политического руководства общественным транспортом и неуклонный рост числа частных автомашин — со всеми соответствующими проблемами пробок и загрязнения окружающей среды. Они мучают и большие города, у которых нет социалистического прошлого (от Нью-Йорка до Мумбая).

Библиография

- Lovell S.* Summerfolk: A History of the Dacha, 1710–2000. Ithaca, N.Y., 2003.
- Péteri G.* Streetcars of Desire: Cars and Automobilmism in Communist Hungary (1958–1970) // *Social History*. Vol. 34. № 1. February 2009. P. 1–28.
- Péteri G.* Alternative Modernity? Everyday Practices of Elite Mobility in Communist Hungary, 1956–1980 // L. Siegelbaum (ed.). *Socialist Car* (in preparation).
- Rammert W.* New Rules of Sociological Method: Rethinking Technology Studies // *British Journal of Sociology*. 1997. Vol. 48. № 2. P. 171–191.
- Siegelbaum L.H.* Cars for Comrades: the Life of the Soviet Automobile. Cornell University Press, 2008.
- Schmucki B.* Cities as Traffic Machines: Urban Transport Planning in East and West Germany // C. Divall, W. Bond (eds.). *Suburbanizing the Masses: Public Transport and Urban Development in Historical Perspective*. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd., 2003. P. 149–170.

Перевод с англ. Аркадия Блюмбаума

НАТАЛЬЯ ПЕТРОФФ

Urban Baby¹, или перспективы культурно-исторического изучения раннего возраста в контексте американского городского социума

Прежде всего, а существует ли Urban Baby? Возможные варианты ответов:

(а) Нет, не существует. Весь этот дискурс постмодернизма, с бесконечными интерпретациями и саморефлексией, ведет к дроблению научной теории и исследовательской практики. Наука, включая психологию развития, должна искать основополагающие законы, которые описывают явления вне зависимости от культурного или исторического контекста.

(б) Да, конечно, существует. Спросите любого родителя горожанина. Даже есть интернет-сайт под таким же названием.

(в) Сложный вопрос. К сожалению, в настоящий момент мы не можем с уверенностью сказать, что Urban Baby как предмет научного анализа существует.

Вариант (а) — это, конечно, ответ позитивиста, отстаивающего объективную природу научной деятельности. С этой точки зрения, «городское дитя» — это слишком расплывчатое понятие, не поддающееся операционным определениям (*operationalization*) и численному измерению. «Город» или понятие «городской» не может быть изучено в узких стенах лаборатории. В лучшем случае, понятие «городской» будет представлено как так называемый «социально-экономический статус» (SES) ребенка или уровень образования его родителей.

Что касается ответа (б), то скорее всего так ответят рядовые родители, проживающие в городе, а также многие другие, кто сопрягается с детьми на работе или дома. Мно-

Наталья Петрофф
(Natalya Petroff)
Городской университет
Нью-Йорка, США
NPetroff@gc.cuny.edu

¹ Городской малыш; дитя города (англ.).

гие не подвергают сомнению, что условия, где проходит детство ребенка, играют важную роль в умственном и эмоциональном развитии ребенка. Не случайно решение, где жить и воспитывать ребенка (в городе, пригороде или глубинке), считается очень важным и может кардинальным способом изменить весь уклад жизни современных американских родителей¹.

Наконец, ответ (в) представляет собой попытку вынести так называемое «научное» изучение детского развития за пределы лаборатории, сделать шаг навстречу рядовым родителям, обозначить важные теоретические предпосылки, которые позволят сделать изучение развития частью широкой дискуссии, и попытаться критически осмыслить текущее положение дел. В целом — позиционировать науку о развитии как основанную на убеждении, что ребенок не является исключительно биологическим организмом, что ребенок — это прежде всего наше представление о ребенке, которое выражается в конкретных культурных традициях и общественных институтах. Так считают исследователи, придерживающиеся культурно-исторического направления в современной американской психологии.

Рождение Urban Baby: теоретические предпосылки и современные разработки

В начале XX в. в американской психологии господствовал бихевиоризм, согласно которому среда играет исключительно большое значение в поведении живых организмов. Однако влияние среды было сведено до элементарного уровня стимула, который определяет непосредственную реакцию организма. Что касается развития ребенка, бихевиоризм был не в состоянии объяснить такие сложные процессы, как развитие речи или развитие математического мышления [Lawson, Graham, Baker 2007].

Примерно в те же годы в России Л. Выготский писал, что изучение роли среды в развитии ребенка требует особого подхода: для психолога среда не является чем-то фиксированным, застывшим во времени; для психолога среда всегда представляет собой конкретные аспекты общественной жизни, включая и мир физического артефакта, которые влияют на ребенка по-разному, в зависимости от уровня развития ребенка на данный момент времени [Vygotsky 1994 (1935)].

¹ См., напр., популярные блоги на специализированных сайтах для родителей и среди сайтов общей направленности: <<http://newyork.urbanbaby.com>>; <<http://www.nymetroparents.com/blogs/bloggers.cfm>>; <<http://parenting.blogs.nytimes.com>>.

В те же годы А. Лурия, ученик и соратник Выготского, провел эмпирическое сравнительное исследование детского развития в условиях города и деревни [Luria 2002 (1930)]. Лурия рассматривал такие психологические концепции, как речь и ассоциативное мышление, как напрямую зависящие от культурно-исторических образований, т.е. города и деревни. Подводя итоги своего исследования, Лурия отметил, что в то время как в условиях деревни социализация детей заканчивается довольно рано (к начальной школе), в условиях города дети проходят социализацию намного дольше. Данные различия в темпах развития и социализации проявились в ассоциативном мышлении: городские дети показали высокую скорость ответов, их ответы отличались разнообразием; деревенские дети отвечали медленно, их ответы были похожи друг на друга. Лурия предположил, что эта разница в скорости ответов и разнообразии ассоциаций явилась следствием разной степени разнообразия окружающей среды¹. Так, Лурия отметил, что в случае деревенских детей речь идет о довольно бедной, однообразной среде; напротив, городские дети находятся в гуще многообразной, быстротечной городской жизни².

Эти ранние опыты сравнительного изучения детского развития, однако, не были продолжены: в условиях советской действительности разница между городом и деревней в исследовательских кругах не стала популярной темой [Kozulin 1986].

До недавнего времени в Соединенных Штатах тема детского развития в сравнительном ключе не рассматривалась. Существовали целые направления, занимающиеся природой развития в условиях деревни, городского гетто или среднего класса, но данные исследования, как правило, не пересекались. В лучшем случае можно было встретить упоминание результатов исследований из «параллельной» научной школы³. Или же исследователи разрабатывали какой-то один аспект развития и сравнивали осредненные показатели среди детей из разных слоев населения (см., напр., программу исследований ранней саморегуляции у Блера [Blair 2002]).

¹ Альтернативная интерпретация: причиной могли явиться различные типы ориентации в условиях города и деревни, т.е. поощрение предметной направленности среди горожан и культивация направленности на социум как предпочтительной среди негородского населения (см., напр., работы Рогофф, рассматриваемые ниже).

² Однако ср. наблюдения Бронфенбреннера и др. по поводу «шума», «хаоса», т.е. повышенного уровня «беспорядочной» стимуляции, который наблюдается в среде городской бедноты [Bronfenbrenner 1990; Wolff, Feinbloom 1969].

³ Исключения, когда одни и те же исследователи занимались вопросами развития в условиях деревни и города, были редки и ограничивались изучением школьного возраста, см., напр., работы Коба и Йекель [Cobb, Yackel 1996].

Таким образом, позитивистки настроенная экспериментальная психология пыталась привлечь во внимание социальные и культурные аспекты. Однако в подобных случаях речь шла о статических характеристиках ребенка, т.е. ребенок описывался как выходец из среды среднего класса или городской бедноты, получающей социальные пособия. Подобные описания влияния культурно-социальной среды скорее напоминали заполнение анкеты, в которой можно пометить крестиком нужную графу, отложить в сторону и заняться «чистой» детской психологией, например изучать стадии развития речи «вообще» или «общие» механизмы детской памяти.

В противовес позитивизму, ищущему универсальные (вне культуры и истории) законы, культурно-историческая традиция предполагает, что само взаимодействие растущего ребенка и конкретных культурных и общественных условий должно стать предметом исследования. По словам Выготского, «человек — это явление общественное; без влияния общества человек не в состоянии развить в себе черты, которые выработались в результате исторической эволюции человечества» [Vygotksy 1994 (1935): 352]. Труды Выготского появились в США в 70-е гг. прошлого века и получили развитие в работах Американской культурно-исторической школы, в частности в исследованиях Майкла Коула [Cole 1996], Юри Бронфенбреннера [Bronfenbrenner 1979] и Барбары Рогофф [Rogoff 2003].

Так, Бронфенбреннер предложил рассматривать развитие как результат взаимодействия систем разных типов на нескольких уровнях, где способности ребенка растут по мере расширения и углубления его взаимодействия с внешним миром¹. Может показаться, что в раннем возрасте мир младенца ограничен его непосредственным общением с матерью. Но даже в этот период мир внешний, с его историей и культурой, входит в жизнь ребенка опосредованно, через предыдущий опыт матери и ее положение в обществе². С возрастом ребенок расширяет сферу физического мира, что ведет к расширению мира социального и культурного. Ребенок начинает самостоятельно ходить, покидать пределы дома (ясли, детский сад).

В схеме Бронфенбреннера находят отражение не только количественные изменения, но и качественные характеристики развития. В частности, Бронфенбреннер выдвигает понятие «проксимальных (близлежащих) процессов» (*proximal processes*), которые описывают, что происходит с ребенком «здесь

¹ Ср. у Выготского: «Развитие ребенка, по мнению некоторых, как раз и заключается в <...> постепенном расширении окружающего его мира» [Vygotksy 1994 (1935)].

² Ср. у Руддик — материнство как отражение культурных норм [Ruddick 1989].

и сейчас», т.е. «участие ребенка во все более усложняющихся взаимоотношениях (на постоянной основе, на протяжении продолжительного времени) с одним или несколькими близкими, с которыми ребенок связывает обоюдная, острая привязанность» [Bronfenbrenner 1990]. Примером проксимального процесса может служить игра в прятки, когда мать учит малыша реагировать на ее исчезновение и появление улыбкой и восторгом. Постепенно малыш учится игре и затем инициирует игру в прятки с матерью и даже с незнакомцами.

Применительно к различным культурным условиям, которые характерны для современного города, Бронфенбреннер отмечал, что развитие будет заторможено, если проксимальные процессы протекают неровно. Сам по себе факт низкого образовательного ценза матери или отсутствие одного из родителей не представляют риска. Риск может появиться, если из-за низкого достатка или потери работы семья должна часто менять место жительства или если появление приемного родителя изменяет динамику в семье и возникает неясность, что от ребенка ожидает каждый из родителей. Развитие и поддержание проксимальных процессов является залогом последующего развития ребенка, так как через проксимальные процессы ребенок вовлекается в мир культурных артефактов. Более того, восприимчивость ребенка к последующему интеллектуальному стимулированию (например, в школе) будет зависеть от качества ранних проксимальных процессов¹.

Барбара Рогофф дополнила культурно-историческую традицию и обратила внимание исследователей на важность изучения развития как протекающего в определенных, специфических условиях: развитие заключается в качественных изменениях самой природы участия индивидуума в социально-культурной деятельности данного социума [Rogoff 2003]. Рогофф представляет собой редкое исключение в современной американской психологии, так как она не только рассматривает природу развития как вытекающую из конкретной исторической и культурной ситуации, но и пользуется при этом методом кросскультурных исследований.

Благодаря кросскультурному подходу Рогофф привлекла внимание исследователей к необходимости критически осмыслить многие укоренившиеся мнения и стереотипы. В сравнительных исследованиях мексиканских и американских детей она продемонстрировала, как разные культурные традиции опре-

¹ Также необходимо отметить важность «экологических переходов», т.е. насколько различные системы (или «экологические ниши», в которых ребенок участвует непосредственно) похожи или отличаются друг от друга [Bronfenbrenner 1979].

деляют разные типы взаимодействия между матерью и ребенком, что, в свою очередь, приводит к различному употреблению речи и ориентации на социум или объект [Rogoff, Toma 1997]. Продолжая традиции Бронфенбреннера, Рогофф продемонстрировала, как процессы более высокого уровня (т.н. культурные ценности социума) отражаются в повседневном общении матери и ребенка в контекстах разных культур. Например, в традиционных аграрных контекстах матери не спешат ответить на призывы малыша о помощи с каким-нибудь предметом, однако они готовы помочь малышу, если речь идет о его взаимоотношении с каким-либо членом семьи или общины. В то же время американские матери, образованные горожанки среднего класса, сразу же откликаются на интерес малыша к предметам и, более того, стараются культивировать интерес малыша к миру неодушевленных объектов [Rogoff et al. 1993].

Может создаться впечатление, что Рогофф идеализирует традиционные общества, которые далеки от культа материального. Однако задача Рогофф состоит в другом — показать, что за нашей уверенностью в правильности родительских и исследовательских традиций скрываются тенденции, которые требуют критического анализа.

Urban Baby: проблема «сегрегации»

Итак, с точки зрения культурно-исторической психологии изучение Urban Baby представляет собой не поиск абстрактных законов, вычисляемых на основе средних показателей, а выявление устойчивых, повторяющихся тем и ассоциаций в данном конкретном социуме (ср. мнение Выготского, который считал, что не следует искать «вечного» ребенка, а нужно пытаться осознать «исторического» ребенка [Vygotsky 1986]). Таким образом, наше изучение должно базироваться на внимательном исследовании взаимодействия ребенка с близкими людьми с учетом принятых культурных установок.

В контексте современного американского социума изучение раннего развития невозможно без критического анализа установки на «сегрегацию» детей, считает Рогофф [2003]. Рогофф рассматривает «сегрегацию» (или отделение сферы детского от деятельности зрелых членов социума¹) на нескольких уровнях: (1) как культурно-социальное явление; (2) как специфический

¹ Похожие идеи высказываются М. Коулом: сфера детского, как качественно отличная от сферы взрослого, не отделена в традиционном социуме (в отличие от городкого); функциональное деление на взрослых и детей скорее проводится в смысле степени участия, которая определяется уровнем навыков и возможностей [Cole 2005].

тип взаимодействия между ребенком и матерью, который, в свою очередь, выражает основополагающие культурные ценности данного социума; (3) как явление историческое.

(1) «Сегрегация» детей в условиях современного города проявляется прежде всего в общей установке на исключение детей из общественно-полезной деятельности взрослого населения. Данная установка находит непосредственное выражение в делении общества на возрастные группы, в частности в укоренившейся традиции всеобщего обязательного образования. С точки зрения культурных норм, подобное деление по возрасту необходимо, так как детство — это *подготовка* к жизни (напротив, в традиционных обществах и доиндустриальной Америке дети младшего дошкольного возраста, 3–4 лет, *участвовали* в жизни: заботились о совсем маленьких, готовили пищу, вязали).

Подобная культурная направленность (детство как *подготовка* к жизни) связана с практическими последствиями. Прежде всего, развитие в раннем возрасте проходит в обстановке устной дидактики, так что обучение через наблюдение за другими или посильное участие очень ограничено. Также формальное школьное образование берется за стандарт, которому необходимо следовать, так что умственное развитие начинает выступать как ведущий аспект развития. Наконец, возможность малышей общаться с детьми более старшего возраста ограничена, так как эти дети проводят большую часть времени вне дома. В результате малыши все чаще общаются со взрослыми, которые призваны заниматься исключительно малышом, в то время как другие виды общественно-полезной деятельности в этот момент исключаются.

(2) «Сегрегация» детей также протекает и на более низком уровне проксимальных процессов, т.е. на уровне прямого взаимодействия между ребенком и матерью. На этом уровне различимы такие устойчивые тенденции, как обучение навыкам (физическим или речевым) в дидактическом ключе; уделение особого внимания умственному развитию и широкое использование «развивающих» игр и материалов; отношения между малышом и матерью протекают «на равных» (например, от ребенка ожидается умение выбирать; физический контакт довольно редок и регламентирован — устное общение используется в большинстве ситуаций); преувеличенные положительные эмоции со стороны матери используются для возбуждения и поддержания интереса у малыша.

Перечисленные типы поведения являются, в свою очередь, проявлением культурных ценностей современного американского общества, таких как идеи равноправия, уважения свобо-

ды личности, включая возможность выбора и индивидуальных решений, уважения «личного» пространства (как одно из следствий — ограниченность физического контакта), наконец, веры в силу словесного убеждения и логического аргумента, т.н. «рациональной природы» человека.

(3) Наконец, рассмотрение «сегрегации» в историческом плане позволяет увидеть, что отделение детей от общественно-полезной сферы зрелых членов социума имеет корни в широких исторических процессах. Так, индустриализация привела к тому, что сфера общественно-полезной деятельности оказалось отделенной от дома, что также привело к росту городов. Урбанизация как новый тип социального уклада сопровождалась изменениями и в организации физического пространства, так что сравнительно открытое пространство деревни уступило место «пересеченной» местности города. В деревне можно видеть малышей, свободно передвигающихся и наблюдающих за работающими взрослыми. В городе подобное поведение будет расценено как опасное. Индустриализация, рост городов и резкий приток иммигрантов, требующих планомерной интеграции, привели к необходимости систематизировать и регламентировать систему американского образования. Последовавшая реформа школы была основана на возрастном делении на классы (вместо деления по подготовке или проявленным навыкам, которые часто использовались в преурбанистической, доиндустриальной Америке). Постепенно возраст стал неотъемлемой частью культурного словаря американского города [Rogoff 2003].

В то время как Рогофф дает подробный обзор «сегрегации» в социальном, культурном и историческом плане, существует еще один аспект «сегрегации», который пока еще не стал предметом подробного анализа. Это появление так называемых «суррогатных родителей», по выражению Вольфа [Wolff 1989], т.е. специалистов и правительственных программ, которые все чаще определяют, что «нормально», и непосредственно влияют на воспитательный процесс. «Суррогатные родители» заняли влиятельную позицию не сразу. Сначала деление по возрастному признаку вошло в каждодневный быт, стало неотъемлемой частью американского образа жизни; в то же время психология начала чертить траекторию развития ребенка как движение от одного возрастного периода к другому, где каждый период предполагает свои качественные характеристики и возрастные нормы (т.н. «стадии развития»). Влияние психологической теории затем начало сказываться на методиках школьного и дошкольного воспитания, социальных программах и взглядах рядовых родителей, которые все больше и больше были озабочены «уровнем» развития ребенка.

Среди вопросов, которые волнуют современных образованных родителей-горожан, следующие: соответствует ли развитие ребенка его возрастной норме; в достаточной ли степени домашняя среда «стимулирует» умственное развитие ребенка¹; что можно предпринять, чтобы ускорить его умственное развитие². Вследствие таких культурных факторов, как «сегрегация» детей, а также уверенности родителей, что развитие — это преодоление «ступеней», создалась ситуация, когда раннее развитие становится немислимо без участия специалистов³. Все чаще родители обращаются к специалистам и меняют систему воспитания в соответствии с новомодной психологической теорией или правительственной инициативой.

Как эта тенденция повлияет на «проксимальные процессы», через которые маленький ребенок становится полноправным участником социума, пока неизвестно. Эта тенденция и другие аспекты «сегрегации» нуждаются в изучении. В этой связи следует заметить, что еще сто лет назад Джон Дьюи отмечал связь между непосредственным общением (включая «проксимальные процессы»), культурными установками и поведением:

Мы редко осознаем, до какой степени наши сознательные оценки того, что представляется ценным, а что нет, на самом деле исходят от представлений, в которых мы не отдаем себе отчета. В общем, можно сказать, что понятия, которые мы считаем само собой разумеющимися и о которых не задумываемся, как раз и лежат в основе нашего осознанного мыслительного процесса и определяют наши заключения. Эти само собой разумеющиеся понятия (или привычки, которые находятся за пределами рефлексии) были созданы на основе нашего постоянного взаимодействия с другими людьми [Dewey 1922].

Сегодня культурно-историческая школа обладает необходимой теоретической базой, чтобы критически осмыслить совре-

-
- ¹ Широко бытующее мнение о том, что раннее развитие требует специальной стимуляции, основано на данных сравнительной психологии, т.е. лабораторных исследований на животных. В частности, опыты над крысами показали, что ранняя депривация (отсутствие материнской заботы, плохое питание) приводит к замедлению развития. Молодые особи никогда не наверстывают в развитии сородичей, росших в нормальных условиях. Между тем еще сорок лет назад американские специалисты в области раннего развития отмечали неправомерность подобных параллелей между развитием ребенка и животных, выращенных в условиях лаборатории [Wolff, Feinbloom 1969].
 - ² В то время как специалисты пытаются обратить внимание родителей на неоправданные надежды по поводу «обогащения» раннего развития (напр., [Murray et al. 2006]), компании продолжают выпускать «развивающие» игрушки. Не так давно одна из подобных компаний, Дисней, решила возместить родителям стоимость видеокассет, так как родители не увидели признаков «обогащенного» развития у своих малышек [Lewin 2009].
 - ³ Участие «суррогатных родителей» (экспертов) может принимать и неожиданные формы. Например, уже упомянутый сайт Urban Baby недавно сообщил об открытии центра по лактации, где молодые мамы могут получить платную консультацию у дипломированного специалиста по лактации: как кормить грудью, как сцеживаться, какие приспособления и нижнее белье следует приобрести <www.urbanbaby.com>.

менные культурные нормы и практику, которые составляют основу развития ребенка как члена городского социума. Подобное изучение ребенка потребует гибких форм, выходящих за стены университетских лабораторий [Cahan, White 1992], а также участия других дисциплин и диалога с общественностью.

Библиография

- Blair C.* School Readiness: Integrating Cognition and Emotion in a Neurobiological Conceptualization of Children's Functioning at School Entry // *American Psychologist*. 2002. 57(2). P. 111–127.
- Bronfenbrenner U.* The Ecology of Human Development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979.
- Bronfenbrenner U.* Who Cares for Children? // *Research & Clinical Center for Child Development*. 1990. № 12. P. 1227–1240.
- Cahan E.D., White S.H.* Proposals for a Second Psychology // *American Psychologist*. 1992. 47(2). P. 224–235.
- Cobb P., Yackel E.* Constructivist, Emergent, and Sociocultural Perspectives in the Context of Developmental Research // *Educational Psychologist*. 1996. 31(3/4). P. 175.
- Cole M.* Cross-Cultural and Historical Perspectives on the Developmental Consequences of Education // *Human Development*. 2005. 48(4). P. 195–216.
- Cole M.* Cultural Psychology: A Once and Future Discipline. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996.
- Dewey J.* Democracy and Education. N.Y.: The MacMillan Company, 1922.
- Kozulin A.* Vygotsky in Context // *Vygotsky L.S. Thought and Language*. Boston: The MIT Press, 1986.
- Lawson R.B., Graham J.B., Baker K.M.* A History of Psychology: Globalization, Ideas, and Applications. Upper Saddle River: Pearson, 2007.
- Lewin T.* No Einstein in your Crib? Get a Refund // *The New York Times*, online edition. 2009. October 24.
- Luria A.* A Child's Speech Responses and the Social Environment (1930) // *Journal of Russian & East European Psychology*. 2002. 40(1). 71–96.
- Murray A., Fees B., Crowe L., Murphy M., Henriksen A.* The Language Environment of Toddlers in Center-Based Care versus Home Settings // *Early Childhood Education Journal*. 2006. 34(3). P. 233–239.
- Rogoff B.* The Cultural Nature of Human Development. N.Y.: Oxford University Press, 2003.
- Rogoff B., Mistry J., Goncu A., Mosier C.* Guided Participation in Cultural Activity by Toddlers and Caregivers // *Monographs of the Society for Research in Child Development*. 1993. 58(8).

- Rogoff B., Toma C.* Shared Thinking: Community and Institutional Variations // Discourse Processes. 1997. 23(3). P. 471–497.
- Ruddick S.* Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace. Boston: Beacon Press, 1989.
- Vygotsky L.* The Problem of the Environment (1935) // R. van der Veer, J. Valsiner (eds.). The Vygotsky's Reader. L.: Blackwell, 1994. P. 338–354.
- Vygotsky L.* Thought and Language. Boston: The MIT Press, 1986.
- Wolff P.H.* The Concept of Development: How Does it Constrain Assessment and Therapy? // P.R. Zelazo, R. Barr (eds.). Challenges to Developmental Paradigms: Implications for Theory, Assessment and Treatment. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1989. P. 13–28.
- Wolff P., Feinbloom R.* Critical Periods and Cognitive Development in the First 2 Years // Pediatrics. 1969. 44(6). P. 999.

ВЛАДИМИР ПОДДУБИКОВ

Этнокультурное пространство российского города: некоторые проблемы этнологического исследования

1

Важной и перспективной представляется проблематика научных исследований города с точки зрения социально-культурной антропологии, в частности такой ее субдисциплины, как этнология. В этом контексте большой интерес представляет город как особая социокультурная среда, рождающая феномен массовой культуры, распространяющейся далеко за пределы городских агломераций. Высокую значимость сегодня имеют основные характеристики городской среды с точки зрения текущих этнических процессов, этнического состава населения городов и факторов его изменения, характера межэтнических отношений и этнокультурного взаимодействия в городских сообществах.

Владимир Валерьевич Поддубиков
Кемеровский государственный
университет
poddub@kemcity.ru

Большинство из перечисленных вопросов в нашей стране исследовано недостаточно. Анализ литературы заставляет отметить, что в отечественной научно-исследовательской традиции они не нашли столь широкого освещения, как за рубежом. К примеру, в англосаксонских странах исследования в области городской антропологии (в т.ч. затрагивающие этнические аспекты городской культуры и состава населения) ведутся уже более половины столетия. За это время накоплены значительные массивы данных, сформирован ряд исследовательских направлений, подобран и апробирован необходимый инструментарий, подходы и методы. Полученные результаты широко используются в практической деятельности в области городского управления, разработки предвыборных платформ политических партий, социальных программ и многих других сферах.

Российская этнология не располагает подобным опытом и разработками, поскольку традиционно ориентирована на исторические реконструкции и эмпирическое описание «исконных» этнокультур, под которыми понимаются комплексы этнических традиций в области духовной, материальной и соционормативной культуры, характерные для этносов и этнических групп, в минимальной степени подверженных культурным новациям XX в. Города (а точнее их влияние на этнические культуры) признаются одним из факторов такого рода новаций. Это предопределило известное невнимание советских, а вслед за ними и российских этнографов к городской проблематике.

Лишь последнее десятилетие было отмечено началом целенаправленного этнологического изучения российских городов, хотя и в этом случае приходится говорить лишь о единичных исследовательских проектах, направленных на изучение этнического состава города, текущих в городской среде этнических процессов и этнокультурной ситуации на пространстве российского города. Среди них — комплексная научно-образовательная программа «Мегаполис», реализованная в 2000-е гг. в Москве, Санкт-Петербурге, ряде городов европейской части страны и Сибири, а также разработки специалистов из Краснодара по изучению этнических миграций на территории Южного Федерального округа.

По объему исследований и перечню поднятых вопросов этого вряд ли достаточно в общероссийских масштабах, особенно если учесть, что первый из упомянутых проектов не был прямо ориентирован на этнологический анализ социальной ситуации в российских городах, а отводил на эти цели лишь один из своих разделов. Вместе с этим потребность в развитии подобных исследований, безусловно, есть. Процессы урбанизации обще-

ства, роста численности городского населения и усложнения его этнической структуры к настоящему времени требуют научного осмысления широкого спектра проблем, многие из которых отличает высокий уровень практической значимости.

2

Постараемся выделить и кратко охарактеризовать наиболее, по нашему мнению, важные аспекты этнологического исследования российских городов и связанные с этим проблемы. Отметим также, что многие приводимые по тексту материалы, примеры, факты и наблюдения автора относятся к городам Сибири, что в некоторых случаях не препятствует обобщениям и некоторым выводам, которые могут быть перенесены на проблемы городской этнологии других регионов страны.

Прежде всего, важной представляется методологическая сторона городских этнологических исследований, а также проблемы используемых методов и источников данных. Город — несравненно более сложный объект для изучения, нежели привычные для отечественных исследователей сельские этнические группы. Традиционные для этнографии подходы и инструментарий не всегда здесь могут применяться.

Во-первых, важной особенностью города, затрудняющей его этнографическое изучение, является дисперсный характер расселения этнических групп в пределах городской черты. В большинстве российских городов отсутствуют национальные анклавы, выраженные в такой степени, как, например, китайские или латиноамериканские кварталы в городах Северной Америки. Компактного расселения отдельных этнических групп в пределах российского города зачастую не наблюдается. Известное исключение здесь, пожалуй, могут составить цыганские общины, которые иногда образуют, например в городах Сибири, единые места поселения, как правило, в пределах городской периферии. Или же города Кавказа и Закавказья, где сохраняются элементы пространственной дивергенции населения по этническому признаку. Типичной для российского города, включая крупнейшие мегаполисы, все же является дисперсное расселение этнонациональных групп. Все они, по сути, могут считаться этнодисперсными (кроме численно доминирующей части населения). Это обстоятельство затрудняет задачу исследователю, скажем, в выборе места наблюдения или проведения опроса. В данном случае, вероятно, потребуются предварительный анализ материалов статистического учета населения в целях определения мест проживания (территориального размещения) исследуемых этнических групп. Однако большая часть необходимых для этого материалов недоступна для исследователей.

Во-вторых, особенности городских сообществ как объекта этнологического исследования предопределяют неоднозначность положения самого исследователя. В отличие от практики полевых исследований в сельской местности в данном случае он всегда погружен в этнокультурную среду, поскольку зачастую сам является городским жителем. Он проводит исследовательскую работу не в инокультурном окружении, а у себя дома, в привычных для него условиях, даже если место проведения работ не совпадает с местом жительства: сам окружающий антураж в общих чертах схож во многих городах. В такой ситуации имеются как свои преимущества, так и очевидные затруднения и недостатки.

Плюс, пожалуй, состоит в доступности некоторых аспектов поведения людей, их повседневных практик и отношений посредством наблюдения, в т.ч. включенного (участвующего), к которому этнографы всегда испытывали особое доверие. В случае этнографического исследования в «чужой» среде, среди сельских этнических групп, часто приходится тратить большое количество времени и сил на «вхождение» в эту среду, т.е. на снятие первой реакции отчуждения (а иногда и раздражения от присутствия чужака), прежде чем исследователю удастся установить необходимый контакт со своими информантами. И даже когда такой контакт установлен, это еще не означает, что исследователю удастся принять участие в одной из интересующих его культурных практик. В городской среде многие из этих практик открыты для участия, поэтому есть все возможности увидеть их «изнутри». К примеру, вполне достаточно выступить в роли покупателя фруктов на городском рынке, и у вас уже появляется шанс поучаствовать в процессе розничной торговли — одного из характерных занятий, скажем, части азербайджанской общины.

Что касается сложностей полевой этнографической работы в городских условиях, то они, по сути, связаны с теми же обстоятельствами — полной и непрерывной погруженностью исследователя в изучаемое этнокультурное пространство города. Он рискует попасть под влияние феномена, который условно можно обозначить как аберрацию близости культурной дистанции, отделяющей исследователя с его жизненным (социокультурным) опытом от наблюдаемых в городских условиях реалий. Многое из наблюдаемого в городе нам хорошо известно и встречается повседневно. Мы как горожане подвержены действию стереотипов, клише в суждениях и навязанных оценок наблюдаемой действительности, в т.ч. и сконструированных при участии средств массовой информации, нашего повседневного окружения и прочих факторов. Все это лишает исследователя преимущества «свежего глаза» и может затруд-

нять его способность увидеть, беспристрастно оценить и адекватно трактовать происходящее.

Существенную проблему при этнологическом исследовании города составляют имеющиеся сложности доступа к необходимым источникам данных и проблемы их достоверности. Как уже было отмечено, без использования массовых количественных данных трудно представить себе результативное исследование в области городской этнологии. Однако получить эти данные — не всегда простая проблема. Материалы муниципальной статистики практически недоступны для исследовательских целей. Даже к материалам ЗАГС, в недавнем прошлом свободно предоставлявшимся по официальному запросу от научно-исследовательских организаций, в настоящее время нелегко получить доступ. Что касается ведомственной статистики, то она доступна еще менее. Автор этих строк, к примеру, неоднократно на собственном опыте испытывал крайнее нежелание руководящих медицинских работников выдавать для научного использования статистические сводки по заболеваемости и смертности населения. Причем категорические отказы следуют, как правило, сразу после разъяснения целей и задач выполняемой работы, состоящей в сравнении уровня заболеваемости, характерного именно для различных этнических групп. Аналогичным образом дело обстоит и с возможностью использовать статистические данные иных ведомств. Даже в том случае, когда их удастся получить, велика вероятность того, что они не вполне точно, полно и корректно отражают интересующую исследователя ситуацию. Часто приходится иметь дело с цифрами второго и даже третьего уровня обобщения, «нормализованными» из соображений «успешной» отчетности.

Некоторые из отмеченных недостатков (или близкие к ним по содержанию) присущи и таким официальным источникам данных, как материалы переписи населения. Подробная их критика уже нашла свое отражение в этнологической литературе. Заметим здесь лишь, что данные переписи 2002 г. в ряде случаев неадекватно отражают даже национальный состав населения как страны в целом, так и отдельных регионов и городов. Из-за несовершенства переписной технологии и использованного инструментария многие этнические группы оказались учтены далеко не в полном объеме. Это касается в основном групп т.н. «трудного контингента» (рабочий термин переписи 2002 г.), включая обширные группы нелегальных мигрантов, присутствие которых в российских городах в настоящее время требует внимания этнологов. Таковы в общих чертах сложности и проблемы, связанные с проведением этнологических исследований в городе на основе традиционного для этнографии инструментария и методов.

Не менее интересен вопрос о том, что считать особенно важным в характеристиках города как объекта этнологического исследования и какой круг проблем при этом исследовании должен быть поднят. Нам думается, что основная особенность города с точки зрения его этнологических характеристик — полиэтничность состава городского населения. Гомогенных по этническому составу населения городов в настоящее время не существует. Как крупные мегаполисы мира, так и городские агломерации в России отличаются сложным этническим составом, который, к сожалению, изучен недостаточно.

Имеющиеся данные позволяют лишь отметить, что городское население в России неуклонно (и весьма стремительно) растет с начала XX в. В начале XX столетия доля городского населения в России не превышала 13 %. По данным всероссийской переписи населения 2002 г., оно по численности превзошло сельское более чем в 3 раза (73,3 % против 26,7 %). Впрочем, в отчете Росстата от 21 мая 2004 г. «Итоги всероссийской переписи населения 2002 года» указано, что за последний межпереписной период соотношение городского и сельского населения в стране несколько не изменилось, а процесс урбанизации населения остановился еще в 1989 г. По-видимому, с этого времени снизилось влияние тех факторов, которые ранее способствовали концентрации населения в крупных городах.

Как параллельно с нарастающим трендом урбанизации в течение истекшего столетия изменялась этническая структура российского города? На этот счет практически нет достоверных данных, доступных для исследователей. Вероятно, по этой причине вопрос остается неизученным до сегодняшнего дня. Возможны лишь качественные оценки ситуации, основанные на прямых наблюдениях, анализе материалов СМИ и экспертных оценках. Но даже данной, не вполне точной фактической базы достаточно для того, чтобы констатировать этническую неоднородность городского населения России в настоящее время.

Во-первых, с известной степенью условности в составе городского населения можно выделить численно доминирующую группу коренных горожан титульной национальности. Однако категория «титульная национальная группа» в подобном контексте представляется не вполне однозначной. Для большинства российских городов это преимущественно группы русского населения, если речь не идет об административных центрах национальных республик и автономий.

Впрочем, и в последнем случае в составе городского населения иногда преобладают русские, хотя статус титульной национальности признается за представителями иных, коренных для

данной территории народностей. Примером сказанному может служить столица Республики Хакасия г. Абакан, где титульный этнос — хакасы — значительно уступает по численности русскому населению (8,8 % против 79,5 %). Схожая ситуация характерна для Горно-Алтайска.

Отмеченные обстоятельства настолько важны для понимания современной этносоциальной ситуации в национальных окраинах России, что заслуживают отдельного рассмотрения. В целом здесь прослеживается фиксируемая исследователями пространственная дивергенция этнических групп, характерная для большинства национальных автономий и республик в составе Российской Федерации. Титульное (коренное) население здесь в основном расселено в пределах сельских территорий, в то время как в городах численно преобладают русские и представители иных нетитульных народностей. В формировании данной ситуации, по-видимому, свою роль сыграли исторические особенности процесса образования городских поселений на территориях традиционного проживания коренного населения, например Сибири.

При хозяйственном освоении национальных окраин страны города неизбежно становились центрами сосредоточения ресурсов, развития промышленности, социально-экономической инфраструктуры, рабочих мест и административно-управленческих структур. При этом развитие городов, поселков городского типа и рабочих поселков часто было связано с концентрацией здесь массы мигрантов из других регионов, т.е. групп «пришлого» населения, которое было задействовано в строительстве и обслуживании промышленных объектов, трудилось в сфере услуг и административно-управленческой сфере.

Коренное население в городских поселениях национальных окраин России изначально было представлено в гораздо меньшей степени. Оно в основном сосредоточивалось в сельских районах, продолжая сохранять элементы традиционной хозяйственной специализации, т.е. специализации в аграрной сфере. Этому способствовало несколько важных обстоятельств, среди которых не последнюю роль сыграло выраженное нежелание ряда аборигенных групп интегрироваться в систему социально-экономических связей города. Так, в 1920-е гг. известны случаи добровольного переселения шорцев из мест активной городской застройки и трудовой колонизации со стороны групп пришлого населения в отдаленные таежные районы. Аналогичные процессы отмечались в то же время в Хакасии и горных районах Алтая. В итоге территория расселения коренных этнонациональных групп становилась все бо-

лее компактной в пространственном отношении, а их представительство в городских сообществах было незначительным. На протяжении XX столетия эти диспропорции несколько сгладились за счет частичной интеграции групп коренного населения в городскую среду, начала его участия в экономической и политической жизни республиканских и административно-территориальных центров. Однако во многих регионах ситуация пространственной дивергенции этнических групп населения в плоскости город — село, отмеченная выше, продолжает сохраняться и в настоящее время.

По сути, большая часть коренного населения национальных республик и автономий сегодня лишь в малой степени вовлечена в орбиту городской инфраструктуры и занимает качественно отличные от остальной части населения экологические, экономические и пространственные ниши. Если принять во внимание, что для сельских территорий повсеместно в России характерен низкий уровень жизни и материальной обеспеченности населения, а национальное село с 1990-х гг. по сей день находится в состоянии глубокого социально-экономического кризиса, становится более ясной фактическая подоплека этнополитической манифестации со стороны этнических групп коренного населения. В выступлениях национальных элит малых народов в последние десятилетия нередко просматривается недовольство фактом недоступности для коренного населения материальных благ, сосредоточенных в городах национальных республик и автономий, где коренные жители составляют численное меньшинство. На этой почве возникают некоторые политические проекты, направленные на усиление роли и статуса коренных народностей в городах, расположенных на их этнических территориях (т.е. территориях традиционного проживания). Приведем лишь один известный нам пример.

В 1990-е гг. на волне общего роста политической активности национальных меньшинств в России широко обсуждалась идея о признании города Новокузнецк (Кемеровская область) столицей Горной Шории — т.е. территории исконного проживания шорцев. Опустим здесь рассуждения об экономической подоплеке проекта, которая вполне очевидна, заметим только, что с исторической точки зрения сама постановка вопроса не лишена оснований. Город действительно расположен в месте, где до прихода первых русских поселенцев проживали предки современных шорцев — этнотерриториальные группы абинцев. Что касается правовых оснований подобных выступлений, то они заключались в признании в 1993 г. шорцев коренным малочисленным народом Сибири и принятии в первой редакции перечня мест их компактного проживания. Именно под эту категорию, по мнению национальных лидеров, и должен

был попасть Новокузнецк, что дало бы коренному населению право на получение льгот (в получении жилья и при налогообложении традиционных видов экономической деятельности, к которым, кстати говоря, некоторые участники дискурса предлагали отнести и розничную торговлю).

В 1990-е гг. вопрос не нашел своего разрешения, ничего в данной области практически предпринято не было. Однако теперь ситуация изменилась. В последней редакции перечня мест компактного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, разработанного при участии Министерства регионального развития РФ, присутствует Новокузнецк. Этот факт вызывает недоумение у чиновников региональной администрации, а именно — департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.

По их мнению, ситуация угрожает возникновением серьезных правовых коллизий. Во-первых, в черте города с полумиллионным населением невозможен сам факт компактного проживания коренной национальности. Численность ее городских групп не может здесь достигать необходимого для этого уровня. Ни в одном из городских районов, разумеется, шорцы не составляют не только большинства, но и сколько-нибудь однородной группы населения. Напротив, имеет место исключительно дисперсный характер расселения представителей коренной национальности в пределах городской черты. Во-вторых, город является крупным промышленным центром региона. На его территории и в прилегающих районах сосредоточена производственная база горнодобывающих и перерабатывающих производств. В этих условиях объективно отсутствуют любые возможности для традиционного природопользования коренного населения. Его локальные группы глубоко интегрированы в систему социально-экономических связей города. По преобладающим формам жизнеобеспечения, экономической активности и образу жизни они крайне несущественно отличаются (если вообще отличаются) от основной части городского населения.

Между тем логика, заложенная в перечень мест компактного проживания малых народов, предполагает определение именно замкнутых территориальных анклавов, где компактно проживающие этнические группы могли бы сохранять исконный образ жизни и элементы этнической культуры, основанные на практике традиционного хозяйствования. В этой связи представляется неоправданным отнесение городской территории регионального промышленного центра к числу мест компактного проживания и традиционного природопользования ко-

ренного населения. Думается, что подобные коллизии возникают во многом из-за недостаточной изученности вопросов этнонационального состава городов, а также особенностей этносоциальной ситуации и текущих в городской среде этнических процессов. Города пока еще не стали объектом широко-масштабных исследований с участием специалистов-этнологов, хотя практическая потребность в подобных разработках, как видно, уже сформировалась в практике регионального и муниципального менеджмента.

Еще менее изученными в составе городского населения, пожалуй, являются этнические группы мигрантов. В их числе могут быть выделены как диаспоральные сообщества, относительно стабильные в плане миграционной подвижности, так и неустойчивые группы, представленные в основном трудовыми (в т.ч. и нелегальными) мигрантами из стран ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии. Обе данные категории городского населения представляют большой интерес с точки зрения исследования этносоциальных процессов на пространстве города и межэтнических взаимоотношений. Здесь изучения требуют, к примеру, вопросы экономической специализации, характера пространственного размещения и взаимодействия представителей этнических сообществ мигрантов с остальной частью городского населения. Интересны и важны для изучения также проблемы сохранения (или трансформации) их этнической идентичности, этнокультурных традиций и участия в смешанных браках. Однако перспективы проведения исследований в данной этнической среде неравнозначны. Если городские диаспоры, скажем, кавказских или среднеазиатских народов относительно доступны для общения, имеют свои общественные организации, национально-культурные организации и общины, то этнические группы нелегальных мигрантов представляют собой крайне закрытые сообщества, и достоверной информации по ним практически нет.

Другой важной частью сообщества городских мигрантов является категория т.н. «новых горожан», т.е. лиц, выехавших в город из сельской местности или же в крупные мегаполисы из окраин (в т.ч. национальных). Здесь нужны исследования в области личной мотивации при смене места жительства, проблем социально-культурной адаптации переселенцев в условиях крупных городов, а также изучение вопросов их этнического самосознания в городской среде. Последний вопрос для этой категории мигрантов представляется особенно важным, поскольку миграция в город (мегаполис) как личный выбор предполагает известную степень открытости и готовности личности к возможным культурным воздействиям со стороны изменившейся среды. Это нередко приводит к культурной ассимиля-

ции мигрантов, особенно если речь идет о малых по численности сообществах, не имеющих устойчивых форм объединений в виде общин и / или диаспор.

Интересен также сам феномен диаспоры / национальной общины / национально-культурной общности в контексте этнологии современного города. Диаспора способствует культурному плюрализму городского сообщества, рисуя поликультурную картину городской реальности. Диаспоры не только выполняют функции консолидации этнических групп на национально-культурной основе в условиях инокультурного окружения, но и много работают на внешнюю среду, осуществляя презентацию этнических форм культуры для остальной части городского населения. Нередко это происходит на фоне активного межкультурного сотрудничества и диалога культур.

Эта важная характеристика диаспоры как механизма транскультурной коммуникации в настоящее время изучается этнологами не в полном объеме. Думается, что в условиях, когда предметом широкого общественного дискурса становятся проблемы толерантности в межэтнических отношениях, без вдумчивого изучения самого процесса этого взаимодействия на уровне городских этнонациональных сообществ эти проблемы навсегда останутся лишь предметом бесплодных дискуссий теоретического характера.

Ограниченные рамки формата сообщения в «Антропологическом форуме» не позволяют в полном объеме очертить весь круг проблем, связанных с этнологическим изучением современного российского города. Впрочем, это вряд ли возможно даже в рамках отдельной научной статьи. Все же думается, что сказанного выше достаточно для характеристики города как исключительно сложного, но от этого не менее интересного объекта этнологических исследований, чем сельские этнические сообщества, традиционно изучаемые в рамках отечественной исследовательской традиции. Многое в городской антропологии в нашей стране еще только формируется. Это касается и поиска новых исследовательских методов, и тематики возможных исследований, и определения областей практического применения результатов. Несомненно лишь одно: городская этнология в нашей стране представляет собой весьма перспективное направление исследований с большим не только фундаментальным, но и научно-практическим потенциалом.

ИРИНА РАЗУМОВА

1

2

Прежде всего, сложным представляется определение своей дисциплины. С одной стороны, существует междисциплинарное пространство, в котором изучают культуру города исторические и социальные антропологи, социологи, фольклористы-филологи, этнологи. В этом отношении трудно провести грань между социологами, применяющими качественные методы, филологами, сосредоточенными на «городском» или «локальном» тексте, социальными антропологами, которые используют наблюдение и интервьюирование и т.д. С другой стороны, ощущается разобщенность отдельных групп специалистов даже внутри дисциплинарных полей, в силу чего исследования оказываются фрагментарными и слабо согласованными друг с другом.

Думается, еще недостаточно исследований, выполненных с применением комплекса различных методов, поэтому полученные результаты трудно сопоставлять. Тем не менее в области изучения городской культуры, в частности российской, в настоящее время есть на что ориентироваться. Можно выявить приоритеты в предметной области: стратификация и символизация социального пространства, формирование городской среды и функционирование отдельных ее элементов, этнокультурные коммуникации, отдельный город как текст, образы городов в культуре, городская ритуально-праздничная культура в различные исторические периоды, субкультурная стратификация и особенности субкультур, современный городской фольклор и некоторые другие.

Одной из самых ярких работ последних лет, на мой взгляд, является книга Ф. Нильсена, предлагающего интересную и аргументированную интерпретацию функционирования социального пространства советского города [Нильсен 2006].

Ирина Алексеевна Разумова
Центр гуманитарных проблем
Баренц-региона Кольского
научного центра РАН,
Апатиты
irinazarumova@yandex.ru

Социально-антропологическая перспектива предполагает, среди прочего, нацеленность на определение «человеческих размерностей» города. Город имеет имя, материально-«телесную» определенность, возраст, биографию, заслуги перед государством («города-герои»), он включен в разнообразные отношения с другими городами. В первую же очередь антропологическими методами изучаются образ жизни и поведение городских жителей, разные типы горожан, пространственно-временные координаты жизнедеятельности, история и память городских сообществ, выявляются универсальные и специфические смыслы и ценности, связанные с основными элементами социокультурной среды, с городом как таковым и определенными городами, их историей.

Общие социологические постулаты, касающиеся урбанизационного процесса, диверсифицируются, когда исследователь имеет дело с конкретными городскими сообществами и культурами. Признавая в целом справедливость вывода о том, что «урбанизация ведет к преодолению локального типа культуры» [Яницкий 1998], нельзя не учитывать и того обстоятельства, что в отдельных городах, агломерациях и на урбанизированных территориях формируется локальность, культурная специфичность особого рода. Она отличается от той, которая основана на соседской общности, и опирается на особую идентичность, базирующуюся как на противопоставлении «городского» (статуса, образа и стиля жизни, типа личности) «сельскому», так и на определении отличительных свойств «своего» города.

Таким образом, предметное и проблемное поля социально-антропологических исследований города оказываются чрезвычайно широкими. При этом неизбежно существуют «зоны невидимости», выпадающие из поля зрения не только антропологии, но и других дисциплин.

Целый комплекс проблем связан с системным анализом объекта изучения и дальнейшей разработкой типологии городов. Формальная административная иерархическая классификация (столица — республиканский центр — краевой центр — областной город и т.д.) вполне употребительна, но недостаточна. Она дополняется типологиями, построенными на основе дихотомий: большой / малый город, столичный / провинциальный, монопрофильный / полипрофильный, закрытый / (открытый), исторический / молодой и т.д.

Кроме того, используются другие характеристики, указывающие на определенные типы городских поселений и их сообществ. Доминантные признаки формализованы в разной степени. Так, при разграничении «больших» и «малых» городов может учитываться формальный показатель численности насе-

ления. «Историчность» города подтверждается присвоенным ему официальным статусом (хотя и далеко не всегда), не говоря уже о городах-ЗАТО, связанных с военно-стратегическими объектами. Вместе с тем многие другие определители основываются исключительно на общественном мнении, историческом знании, репутации, наблюдаемых признаках городской среды, неофициальных номинациях и т.п., т.е. в большей степени субъективны и вариативны. Например, «социалистическими» прежде всего называют города, построенные в период советской индустриализации и вследствие этого имеющие сходные инфраструктуру, архитектурный облик, состав населения и т.д. Вместе с тем «социалистическими» по многим признакам становились и исторические города, либо полностью преобразованные, либо расширенные за счет советских индустриальных районов или «городов в городе» (например, случай Свердловска — Екатеринбургa с районом Уралмаша). В этой связи особый случай представляют специализированные «городки» (военные, академические, студенческие), когда они обладают известной автономией и имеют собственную инфраструктуру.

Таким образом, в качестве дифференцирующих могут выступать признаки различного ряда, включая социально-антропологические характеристики города. Наряду с историческими (средневековый, социалистический и пр.) и функционально-профильными (курортный, индустриальный, торговый) используются и собственно профессиональные (рабочий, военный), возрастные (молодой, старый), сословные (купеческий) и прочие. На доминантные социально-демографические признаки часто указывают перифрастические наименования городов [Клубкова 2001]: «город невест» (Иваново), «город металлургов» (Мончегорск), «город энергетиков» (Полярные Зори), «студенческий город» (Апатиты) и т.д.

Обычную проблему при идентификации объекта изучения составляет несовпадение позиций субъектов по вопросу о статусе конкретных городских поселений. Нередко административный статус города подвергается сомнению или, напротив, утверждается за поселением, официально признанным сельским. На сей счет могут различаться мнения экспертов (например, социологов или экономистов), самих жителей, иногородних и «деревенских». Речь не только об ироничной характеристике «большая деревня» в адрес многих городов, включая Москву. Заслуживает внимания, например, выявленное нашим опросом в начале 1990-х гг. мнение части жителей Карелии о том, что в республике только один город (Петрозаводск). Аналогичная позиция высказана компетентным мурманским профессором в отношении областного центра Мурманской области, несмотря

на то что регион, согласно статистике, является самым урбанизированным в стране. Соотнесение точек зрения позволяет выявить стереотипные и варьирующие представления и оценки, касающиеся города как такового, идеальных типов горожан, городского образа жизни, пространства, среды и прочего.

С антропологической точки зрения актуальным является изучение феномена монопрофильного города и моногородов различного типа в зависимости от их специализации: промышленный город, военный город, город-курорт, религиозный центр, туристский (он же часто «исторический») город и т.д. Отдельным российским городам такого рода были посвящены специальные исследования, хотя и достаточно фрагментарные. В частности, ряд работ выполнен в рамках известных проектов по изучению культуры российской провинции [Русская провинция 2000; Провинция 2001; Геопанорама 2004]. Они выявили особенности символизации малых городов, свойства их культурного ландшафта, специфику самосознания жителей.

В последние два десятилетия большинство российских моногородов в силу известных социально-экономических причин вступили в критическую фазу своего существования, и они переживают ее по-разному. За многими закрепился эпитет «умирающий». Один из реальных путей их сохранения — перепрофилирование. Оно касается прежде всего промышленных городов, неотделимых от производства-градообразователя. С производством связана сама идея существования таких городов, их история, символика, деятельность социокультурных институтов. Перепрофилирование в данном случае означает фактически «перерождение», которое сопряжено с культурной трансформацией.

В конечном счете, переживание стресса, адаптивность городских сообществ определяются имеющимися у них культурными ресурсами. В силу этого самыми уязвимыми оказываются молодые социалистические города. Антропологи в настоящее время имеют возможность непосредственно наблюдать и исследовать процессы умирания / перерождения таких городов, переоформления и переосмысления их культурной среды.

Одной из примет «умирающего» социалистического города является разрушающийся городской ландшафт. Северные промышленные города предоставляют много тому примеров. В городском пространстве заметны развалины зданий и архитектурных сооружений сталинского и последующих периодов, пришедшие в запустение городские районы, бывшие места массовой рекреации и т.д. Эти памятники культуры достойны масштабных исследований, в том числе методами визуальной антропологии. Например, в Кировске таким является

«25-й километр» — в относительно недавнем прошлом благополучный рабочий район, который сейчас фактически лежит в руинах, хотя и продолжает функционировать.

Фрагменты разрушающегося городского ландшафта достойны музеификации, как и известные «этнографические деревни». Наряду с ними в некоторых городах есть объекты, населением именуемые «недостроем». Они свидетельствуют о нереализованных градостроительных планах. В частности, с конца 1990-х гг. такие «недостройки» стали одним из символов Апатитов (Мурманская обл.). Формы вторичного использования разрушенного и недостроенного, преимущественно спонтанные, сейчас можно фиксировать и изучать на основе живого наблюдения.

Наименее изученными из всех урбанизированных поселений продолжают оставаться так называемые «поселки городского типа». Они как будто выходят за рамки «ведомств» и традиционной этнографии, занимающейся сельскими культурами, и современной социальной антропологии, сосредоточенной на явлениях модернизированной культуры, ассоциируемой с городской. Трудно выявить в данном случае и какой-либо культурный текст вследствие его невыраженности, нерепрезентативности.

Феномен ПГТ представляется маргинальным. Во-первых, будучи административно приравненным к поселениям сельской местности, в социально-экономическом отношении он в большинстве случаев таковым не является. Во-вторых, многие поселки данного типа создавались и существовали в качестве «переходных» к городам, представляясь только этапом урбанизационного процесса. Несмотря на то что судьбы рабочих поселков сложились по-разному, идея таких поселений в высшей степени сказалась на самосознании жителей. В-третьих, «поселки городского типа» настолько различны во всех отношениях, включая профиль, инфраструктуру, социальную и культурную среду и многое другое, что объединение их в одну категорию проблематично.

Наконец, нет ясности даже с официальным статусом, поскольку он зафиксирован лишь для части поселений данного вида. Некоторые обозначаются просто как «населенный пункт». Так, все наши попытки выявить на документальных основаниях статус рабочего поселка Титан близ Кировска (Мурманская область) не привели пока к положительным результатам. Таким образом, поселок оказывается «без статуса». При этом, как выяснилось, его старожилы до сих пор считают, что только «по случайности» город Кировск вырос не «из Титана», а чуть в стороне.

При всей маргинальности («ублюдочности», по выражению А. Левинсона) подобных поселений они не только не находятся «вне культуры», но, по нашему предположению и предварительным материалам, обладают известной культурной целостностью, по крайней мере имеют свой образ, память о прошлом, идентичность [Змеева 2007]. Сами названия этих поселений для жителей региона представляются «историческими» и символизируют советское прошлое края.

На определенном этапе промышленного освоения Севера рабочие поселки были основным типом поселений, к ним восходит большинство современных монопрофильных городов, в том числе в Кольском Заполярье. В «генеалогической» ретроспективе они выступают родителями и прародителями современных индустриальных центров. Часть из них стали пригородами, часть разрушены и заброшены, часть сохранились. Жители рабочих поселков имеют, как правило, городскую идентичность и воспринимают место своего жительства как «город в перспективе». Например, в полном противоречии с административным статусом поселок строителей Полярные Зори изначально (конец 1960-х — начало 1970-х гг.) все называли городом, а узаконен городской статус был только в 1991 г.

Следует уточнить, что данная ситуация может быть характерна лишь для регионов, подвергшихся урбанизации определенного типа. На Кольском Севере, в частности, практически отсутствует противопоставление «городских» и «деревенских» — в силу крайней малочисленности и культурной дистанцированности собственно сельских поселений, а также в результате того, что «деревенские», приехавшие строить соцгорода, начинали новую жизнь уже горожанами, обретая соответствующую идентичность. Таким образом, урбанистическая культура имеет региональную спецификацию, изучение которой представляет еще одно проблемное поле.

С комплексом вопросов методологического характера связано изучение манифестаций городской культуры, в которых представлены социальный и исторический профили того или иного города (его образ). Культурная значимость городов детерминирована количеством и качеством репрезентаций — литературных, визуальных, мультимедийных и прочих. Их наличие, разнообразие, содержание, степень распространения, устойчивость, в свою очередь, определяются уровнем развития внутригородской культурной среды, деятельностью местных профессионалов и краеведов, «этнографическим» интересом внешних наблюдателей, а также возможностями и предпочтениями исследователей.

Для малых и относительно молодых городов «выход из небытия» — дело случая. Глубина культурных ассоциаций с тем или иным городом во многом зависит от его репутации как «исторического», старинного, являющегося центром ареала, привлекательного в этнографическом отношении, т.е. вполне традиционного (сюда можно отнести, например, Архангельск или Каргополь). При изучении культуры таких городов чаще применяются апробированные историко-этнографические методы и реконструктивный подход, в соответствии с которым элементы модернизированной культуры интерпретируются как поздние наслоения и трансформации. С этой точки зрения, молодые (в том числе советские) города рассматриваются как лишенные прошлого и, следовательно, не показательные в отношении исторической динамики культуры. Жители социалистических городов являются переселенцами из разных мест и считаются носителями культур исходных территорий.

Данный подход не кажется перспективным. Более того, именно анализ ситуации в молодых городах способен прояснить, каким образом не просто формируется некий культурный симбиоз, но происходит рождение социокультуры, далеко не всегда преемственно связанной с иными этнолокальными очагами. Это отчетливо наблюдается на примерах моногородов Крайнего Севера, построенных на слабозаселенной территории в ходе экстремальной урбанизации усилиями переселенцев из самых разных регионов страны. Осмысление и оценка обстоятельств создания новых индустриальных городов в специфических условиях повлияли на формирование особой культурной общности (включающей отдельные городские сообщества) и локальной идентичности.

В связи с этим приобретает актуальность изучение современной мемориальной культуры молодых городов, ее становления, профессиональных и самодеятельных форм, типов репрезентаций, содержательных аспектов, соотношения в ней традиционного и инновативного. Исторический образ места играет важную роль в формировании и стабилизации городских сообществ, поддержании их идентичности. Бывшие социалистические города имеют каждый свое лицо и биографию, при этом их исторические образы, очевидно, могут быть типологизированы.

Именно молодой город может отличаться высоким уровнем мемориальной культуры. Она составляет заботу профессионалов, компенсирующих своей деятельностью отсутствие «памяти» сообщества. К таким можно отнести, например, город Полярные Зори. Он очень мал, но в нем много всевозможных мемориальных плит, досок, знаков и памятников воинской

славы. Приверженность памятникам впечатляет наблюдателя. Интересно, что город установил памятник вождю мирового пролетариата уже в период крайней его непопулярности. Городская библиотека издает информационно-библиографические дайджесты и брошюры, посвященные культурным объектам, личностям, отдельным учреждениям города. Составлен объемный «Полярнозоринский хронограф» [Полярнозоринский хронограф 2006].

Если учесть, что официально городу Полярные Зори нет и двадцати лет, случай заслуживает особого внимания. Закономерно, что в Полярных Зорях отсутствует устно-историческая традиция. Но именно здесь можно наблюдать высокий уровень исторической рефлексии небольшого городского сообщества, которое осознает свой высокий «интеллектуальный» статус (город обязан своим существованием атомной станции). В этой связи представляются актуальными для исследования проблемы функционирования социокультурных институтов в городах различного типа и аспекты деятельности профессионалов, формирующих их культурную среду и историю.

Наконец, отмечу еще один круг проблем, связанных с методами современных исследований города. Социально-антропологический ракурс требует анализа позиций субъектов данного процесса — антрополога и информантов-горожан. В рассматриваемом случае антрополог сам является носителем городской культуры, причем определенной, и результаты его работы не могут не зависеть от этого фактора и оценки собственного культурного опыта. Профессионал может представлять «столичную» или «провинциальную» точку зрения, идентифицировать себя по факту рождения, жительства или по образованию с культурой города того или иного статуса и типа, и при этом он всегда должен быть готов к смене позиции. Главную же проблему составляют поиски новых технологий работы с информантами в силу кардинальных различий городских и сельских коммуникаций.

Парадоксально, но близкая антропологу городская социальная среда оказывается более закрытой. Поиск человека и установление контакта с ним в деревне, будь то сельский дом или улица, значительно проще, нежели в городском пространстве, в котором частная жизнь полностью приватизирована, на дверях подъездов установлены домофоны, а потенциальный информант осведомлен о своих правах на информацию, ценит свободное время и не хочет выступать в роли «объекта изучения».

Индивидуализация и спецификация (информационная закрытость) касаются не только личной и семейной жизни, но и кор-

поративной деятельности. Ситуацию усугубляет интенсивная исследовательская активность в городах. Постоянное проведение социологических и журналистских опросов, маркетинговые исследования и тому подобные акции постепенно вызывают отторжение со стороны горожан. Особенно это сказывается на взаимоотношениях исследователей и информантов в тех малых городах, которые почему-либо оказались привлекательными для изучения или являются местом расположения научных центров и высших учебных заведений. Все указанные обстоятельства побуждают к совершенствованию и поиску новых методов работы в городе и координации исследовательских проектов.

Библиография

- Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Змеева О.В.* «Наш мир — это Титан»: Из истории одного локального сообщества // Texts and Communities: Soviet and Post-Soviet Life in Discourse and Practice / Aleksanteri Institute, Finland — Aleksanteri Series. 2007. 4. P. 159–167.
- Клубкова Т.В.* Перифрастические наименования городов и локальный текст // Провинция как реальность и объект осмысления. Тверь: Тверской ун-т, 2001. С. 26–29.
- Нильсен Ф.С.* Глаз бури. СПб.: Алетейя, 2004.
- Русская провинция: миф-текст-реальность / Сост. А.Ф. Белоусов и Т.В. Цивьян. М.; СПб.: Лань, 2000.
- Полярнозоринский хронограф: история города и района в датах: [комплект из ... брошюр] / Полярнозор. центр. город. б-ка / Сост. Е.В. Филипчук; ред. О.И. Сметанина. Полярные Зори, 2006.
- Провинция как реальность и объект осмысления. Тверь: Тверской ун-т, 2001.
- Яницкий О.Н.* Социология города // Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. М.: ИС РАН, 1998. < <http://socioworld.nm.ru/>>.

МОНИКА РЮТЕРС

История города: модернизация, глобализация, «социалистический город»

Историки, как известно, всегда исходят из настоящего: вопросы, интригующие нас сегодня, направляют исследовательские интересы. Возьмем, например, историю памяти, стресса, визуальных образов. Как только мы осознаем значимость этих явлений для нашей нынешней жизни, мы начинаем исследовать их историю. Западные историки начали заниматься реформами Хрущева в тот самый момент, когда Горбачев стал позиционировать себя в качестве реформатора.

Городская история эволюционирует сходным образом. Глобальные города начинают интересовать историков, когда глобализация становится ощутимой на повседневном уровне: растущие потоки мигрантов, образы мегагородов в развивающихся странах, кинопродукция Болливуда, футболки, сделанные в Китае. Городская история должна дать ответы на острые вопросы нынешнего городского развития.

Кроме того, историки задают свои вопросы с определенной точки зрения, из того места, где они находятся. Мой собственный городской опыт включает Берлин, в котором я жила в начале 1970-х гг. и который часто посещаю, а также швейцарские города Базель и Цюрих. Поэтому я буду говорить об актуальных проблемах городской истории с отчетливо европейской точки зрения и прежде всего о недавних исследованиях, касающихся европейского города и города социалистического.

Европейские города, имперские города, глобальные города

В городской истории «европейский город» занимает доминирующее положение; он ассоциируется с преобладающей парадиг-

мой, жестко встроенной в теорию модернизации. Однако с конца XX в. парадигматический статус европейского города оказался под вопросом, а конец его доминирующего положения стал предметом открытого обсуждения.

«Европейский город является носителем определенного образа жизни, отличающего горожанина от жителя деревни. Город — это место элитных профессий, быть горожанином значит не быть крестьянином. Представление о городском стиле жизни предполагает рафинированное, интеллектуальное, изысканное поведение, разделение публичной и частной сфер, труда и досуга» [Siebel 2004: 25]. Согласно этому представлению, город становится противоположностью сельской местности. Это рынок, место торговли и застроенная среда, пункт, в который прибывают мигранты, а также пространство модернизации в эпоху индустриализации. В городах люди собраны вместе, здесь формируются общество и экономика, а также разыгрываются процессы урбанизации (см. напр.: [Zimmermann 2000: 11]).

Городская история занимается (топографически и социально) отделенными друг от друга пространствами социализации, возникающими в больших городах, городами как социально сконструированным пространством в истории.

Урбанизация означает экономический и демографический процесс концентрации, который проявляется в росте городов с появлением индустриализации в начале XIX столетия. Развитие городов в недавнее время отмечено деиндустриализацией и тертиаризацией¹ в развивающихся странах в связи с исходом населения из деревень и миграцией в города.

История урбанизации в то же время является историей этого процесса, а также историей возникновения и развития городских стилей жизни [Zimmermann 2000: 11].

Таким образом, в XIX в. рост городов, урбанизация и индустриализация были тесно связаны друг с другом. Они являлись классическими объектами социальной истории в 1970-е и 1980-е гг. Социальные историки анализировали рост городов и исход из деревень, транспортную систему, экономику, администрирование и политику, миграцию в города и развитие городских инфраструктур, а также конкретные формы городской социализации. Они исследовали нормы и ценности возникающего городского общества, которое считалось состоящим из

¹ Третий экономический сектор также называют непродуцирующей индустрией или сферой услуг; в контексте глобальных городов упоминают и четвертый сектор, охватывающий специализированные финансовые услуги.

буржуазии и рабочего класса, офисных служащих и наемных работников (clerks and employees); внимание фокусировалось на типах внутригородского расселения и социальной сегрегации.

Исследования в этом направлении ограничивались главным образом западно-европейскими и североамериканскими городами. После 1989–1991 гг. те же самые категории начали применяться к бывшим социалистическим странам Центральной и Восточной Европы. Это привело к критической рефлексии по поводу категорий и методов. Другой причиной этих поисков стал «кризис европейского города», ощущавшийся с 1970-х гг., когда западные общества столкнулись с «границами роста» [Club of Rome 1972] в связи с первым энергетическим кризисом, продолжавшейся глобализацией потоков капитала, а также началом деиндустриализации. Для восточно-европейской городской истории 1989–1991 гг. стали большим разрывом, чем начало 1970-х. Запоздавая деиндустриализация совпала в тот момент со структурными изменениями, последовавшими за распадом социалистической плановой экономики [Lenger 2009: 30].

Новое поколение историков обратилось к новым объектам исследования в конце 1970-х и в 1980-е гг. Результатом постмодернистской теории стал отказ от больших нарративов. В центр внимания попали «меньшинства» — непривилегированные группы, женщины, рабочие, этнические меньшинства. История повседневности проложила дорогу на факультеты истории, а за ней сразу же последовала микроистория. Она занималась маленькими вещами и индивидуальными жизненными мирами, постулируя, что эти объекты связаны множеством структурированных / структурирующих отношений с большими сетями и общественными контекстами. Историки читали Фуко, открывали дискурсы и адаптировали социально-конструктивистскую точку зрения к властным отношениям.

К концу 1980-х гг. дискурсивная история встретила с городской. Предметом исследования стал дискурс рубежа веков о проблемах быстрого городского роста: анализировали трудности, преступность и социальные конфликты, а также увлечение буржуазии городским дном [Schlör 1991; Walkowitz 1992]. Помимо личного опыта историки заинтересовались дискуссиями и социальными движениями, предлагавшими решения проблем городского роста: филантропией и политикой социального обеспечения, а также вариантами образовательных программ для рабочего класса, попытками дисциплинировать его. Теперь считалось, что движение по распространению гигиенических знаний и навыков оказало серьезное воздействие

на городскую историю, усовершенствование городской инфраструктуры, строительную политику и городское планирование. Ожесточенный антиурбанизм конца XIX в. объяснялся тревогой перед лицом процессов Нового времени (modernity).

С того момента когда городская история оказалась под влиянием постколониальных исследований 1990-х гг., она обратилась к изучению империй и форм имперского и национального управления [Driver 1999]. Город начали воспринимать как репрезентативное пространство правящих сил общества. Исследовалось соотношение искусства и архитектуры с властью, а также разные формы демонстрирования имперскости как отображение могущества, в частности различные формы национальных и международных выставок [Greenhalgh 1988; Rydell, Gwinn 1994]. Для сравнения, разные формы национализма, воплощенные в «национальной архитектуре», оставались на тот момент вне поля зрения городских историков. Между тем город изучался и как пространство коммуникации (см., напр.: [Saldern 2006]).

Столица, глобальный город и мегагорода

Воздействие, а также все возрастающее ощущение глобализации заставили историков обратить внимание на такие явления, как столица, глобальный город и мегагорода, а также на историю экономических и культурных взаимоотношений между городами на различных уровнях [Feldbauer et al. 1997; Sassen 1997; Sassen 2000; Sassen 2004; Matejovski 2000; Bronger 2004; Schwentker 2006]. Обычно большой город, столичные города и мегаполисы определяются размером занимаемой территории и населения. Кроме того, историки выработали определения этих явлений для разных исторических периодов. Города до наступления Нового времени отличаются от городов эпохи Нового времени и постмодернистских городов.

Столичный город XIX и XX вв. с населением от одного до двух миллионов был легко управляемым и простым по устройству. Он обладал центром и периферией. До-модерная столица была религиозным или политическим центром или и тем и другим одновременно. Столицы Нового времени являлись культурными центрами или «материнскими городами» [Leach 2002: 1]. На сегодняшний день экономическая география определяет такой город на основе иерархических порядков, например через его функциональный радиус действия, и классифицирует исходя из наличия центральных институций высшего уровня [Häussermann 2000: 75].

Однако эти критерии не учитывают важный момент его уникальности: столичный город обладает своим безошибочно узнаваемым характером. Простые по структуре большие го-

рода XIX и XX вв. сменили мегаполисы XXI в. с их населением в 13 или 20 млн и несколькими центрами. Некоторые из них действительно представляют собой городские агломерации. Американское выражение обозначает их как «безместные городские пространства», «non-place urban realms». Например, приходит на ум Лос-Анджелес с 13 млн жителей, немецкая область Рейна-Рура с ее приблизительно 11 млн, Осака или Кейханшин (Осака-Кобе-Киото, свыше 17 млн) или Ранштадская Голландия (Амстердам-Роттердам) с приблизительно 7 млн. Это уже не отдельные города, но так называемые мегаполисные области. Излишне говорить, что все они постоянно и быстро развиваются и меняются.

Города, регионы и глобализация

В рамках «глобальной теории» существуют два направления. Одно говорит об исчезновении времени и пространства, в действии рассеивания или дезинтеграции; города рассматриваются как выходящие за свои границы и расплзающиеся в разные стороны [Castells 2003; 2004; Schroer 2006]. Другое направление понимает город как сцену (или место), где происходит глобализация, где в этом процессе концентрируется сфера корпоративно ориентированных услуг (corporate oriented services) и собираются творческие классы [Sassen 2000].

Дискуссия развернулась вокруг кажущегося типичным деления этих глобальных или мировых городов на два (или более?) параллельных города. Когда мегаполисы вырастают в глобальные города, они могут вырабатывать сходные облики, однако не становятся однородными. Интеграция в глобальные сети науки, культуры, общества, экономик и рынков ограничена определенными пространственными, социальными или экономическими сегментами. Глобализация порождает то, что некоторые наблюдатели называют «двойными городами» [Feldbauer et al. 1997: 16]. В них для финансовых и других корпоративно ориентированных услуг формируется новый экономический центр. Реорганизуется вся городская экономика.

Экономический и финансовый сектора наращивают свою значимость в городской экономике с 1970-х гг. Высокие доходы этих секторов приводят к обесцениванию сектора, производящего товары. Расширяющийся международный экономический сектор с его хорошо оплачиваемыми наемными работниками, роскошными ресторанами и гостиницами существует одновременно с локальной экономикой. Местные собственники не могут позволить себе повышать аренду маленьких магазинов, обустраивающих городские кварталы, и квартир. Парадокс заключается в том, что большие компании и их служащие

также нуждаются в персонале уборщиков и простых местных услугах вроде прачечных и т.д. Поскольку местная коммерция и торговля не могут конкурировать с арендами и доходами глобальных плательщиков, они исчезают, а их места занимают мигранты, которые работают за крайне низкое вознаграждение, опираясь на неформальные семейные связи. Поэтому Сассен считает рост неформального сектора неотъемлемой частью глобальных городов. Видимое деление городов является на самом деле отражением единой экономической системы [Sassen 2000: 40; 2004].

В процессе глобализации возникает четкое разделение на Север и Юг. Мир кажется поделенным на страны богатого северного полушария («центр»), полупериферийные или «развивающиеся» («emerging») страны (например, «БРИК», Бразилия, Россия, Индия, Китай) и «бедные» страны, располагающиеся в Азии, Африке и Южной Америке. Городские историки должны обратить внимание на историю и категории, лежащие в основе подобной классификации, поскольку они являются в высшей степени дискурсивными и социально сконструированными.

XIX, XX и XXI вв. отмечены чрезвычайно быстрыми изменениями. Большие города не сегодня начали свое соперничество за внимание на глобальной арене. Распространение ауры, порождающей харизму, становящейся темой средств массовой информации, является частью определения метрополиса. Сегодняшние средства ее распространения — это фестивали, культурные события, замечательные музеи и архитектура.

Все это влияет на городскую историю, а также на историю в целом. Историки отказались от европо- и других центризмов, они комбинируют исследование культуры с изучением экономики и политики. Глобальная история пытается ухватить сложные взаимоотношения между микро- и макросферами. Микроисторический подход задает вопрос о том, как исторические процессы влияют на мельчайшие сектора повседневности, частные жизненные миры и социальные отношения, а также как субъекты своими поступками и связями структурируют процессы. Поэтому микроистория дополняет глобальную историю, которая смотрит на эти процессы не глазом червя, а с высоты птичьего полета.

Социалистические города, советские города, постсоветские города

Относительно Восточной Европы было предложено два подхода: с одной стороны, «социалистический город» изучался как особый городской тип со своей собственной спецификой

и основаниями [French, Hamilton 1979; Bater 1980; French 1995]. В рамках этого подхода основной интерес представляют внутренняя организация, городское планирование и идеология [Andrusz 1987 etc.; Bodenschatz, Post 2003].

Существуют исторические описания восточно-европейских больших и малых городов. Столичные города (типа Москвы и Санкт-Петербурга) рассматриваются в качестве метрополисов со своим узнаваемым характером и мифами. Они обладают собственной «биографией». Другие исследования городской истории — городов не столь индивидуализированных — часто принимают форму изучения частных случаев. В последние годы появились несколько важных работ о советском городском планировании и городском развитии вообще, а также несколько «городских биографий», например Минска [Bohn 2008] и Москвы [Colton 1995].

Специфически социалистические формы городского роста и развития были открыты историками в качестве исследовательских тем в 1980-е гг. До этого момента социалистическими городами занимались социологи и географы ([Bohn 2009: 6]; в Германии можно вспомнить Йорга Штадельбауера, Ингрид Освальд, Изольде Браде и Пауля Рудольфа). Они занимались (и все еще занимаются) реальными переменами, а после 1991 г. сконцентрировали свои усилия на последствиях политических, экономических и социальных трансформаций городов.

С 2000 г. исследователи начинают интересоваться последствиями глобализации. Для сегодняшних социологов и географов типология «социалистических городов» представляется устаревшей. Достаточно неожиданно «социалистический город» начинает походить на гибридную структуру, комбинирующую элементы социалистического планирования и капиталистические реликты. В глаза бросается преобладание инфраструктуры, услуг и администрирования, удержавшихся вопреки всем революционным событиям. Некоторые исследователи даже предложили деконструкцию понятия постсоциалистического города на том основании, что социалистический город существовал не в реальности, а лишь в области идей, планов и образов [Andrusz 2000].

Однако историкам ситуация кажется несколько иной. Понятие «социалистический город» можно сохранить в рамках истории как концепт или как категорию. Более того, социалистический город может стать исключительно привлекательным «закрытым экспериментом», готовым для периодизации. Так что мы способны конструировать разные подходы к истории социалистического города, идеям планирования, воплощенным в строительстве и пропаганде, в опыте жителей.

Учитывая наличие подобных городов во всей Центральной Европе, интерес к наследию «социалистического города» растет в области истории архитектуры. Барбара Крайс [1984] проанализировала конкурс проектов оформления Дворца Советов в качестве ключевого элемента в процессе создания языка особой советской архитектуры. Жан-Луи Коэн [1979] и Боденшатц и Пост [2003] считают Генеральный план реконструкции Москвы (1935 г.) моделью сталинского «прекрасного города» и центральным событием в истории возникновения реального социалистического города. Жан-Луи Коэн сравнил сталинскую реконструкцию Москвы с перестройкой Османом Парижа и назвал ее «процессом догоняющей модернизации» («catch-up modernisation process»).

С 1989–1991 гг. в центре внимания оказывается и послевоенный период, а также сдвиг от сталинской архитектуры к послевоенной современной архитектуре. Элке Байер из Швейцарского Федерального института технологии в Цюрихе готовит сравнительное исследование планирования «центров социалистического города» в эпоху между поздними 1950-ми и 1970-ми гг.

Пространственность, социалистические и постсоциалистические пространства

Пространство как реляционная категория является социально сконструированным. Это особенно верно относительно социалистических пространств, идеологически сконструированных топографий социалистического государства. Можно сказать, что общество конструировалось через пространства [Crowley, Reid 2002]. В конце 1980-х гг. возник новый интерес к восточно-европейским городам и истории публичного и частного пространств. Публичные рассматривались как сцены, на которых разворачивались социалистические ритуалы [Tolstoy, Bibikova, Cooke 1984; Rolf 2006; Dmitrieva 2005].

Изучались «пространства ликования» [Ryklin 2003], а также жилые пространства [Buchli 1997; Kettering 1997]. Объектом критики стало понятие общественной жизни в городах (Öffentlichkeit, «публичной сферы», если следовать терминологии Юргена Хабермаса), поскольку это понятие неприменимо к социалистическим обществам [Wendland, Hoffmann 2002; Rittersporn et al. 2003].

Другой темой является кажущееся противоречие между огромными открытыми публичными пространствами и скученными внутренними пространствами [Stites 1999; Epstein 2003].

Революционные преобразования 1989 и 1991 гг. изменили облик восточно-европейского города. Он стал наиболее зримым местом перемен. 1990-е гг. продемонстрировали стремительное воздействие капитализма на городские поверхности: киоски и рекламные щиты росли как грибы. Следующим шагом стали архитектурные трансформации. Тематика городской истории включала наследие социалистического городского планирования, а также последствия нескольких одновременно протекавших процессов: приватизации, перестройки национальной и транснациональной городских систем, деиндустриализации, породившей новые формы миграции, а также явления «сжимающихся городов», возникающего из-за сворачивания целых отраслей экономики.

Советский город

Важным эпизодом истории советского городского планирования являются дебаты 1920-х гг. об идеальном городе, которые стали предметом глубоких исследований [Корр 1970; 1975; Khan-Magomedov 1987]. Эти дебаты вывели на поверхность глубоко укорененное в это время ощущение двойственности и тревоги по отношению к городу. С одной стороны, город представлялся порождением капитализма, с другой — он был колыбелью рабочего движения. Догоняющая модернизация считалась необходимой для молодого советского государства, полагавшегося на урбанизацию, вплоть до устройства «агро-городов».

Новых советских мужчину и женщину следовало вырастить в домах-коммунах, в конвейерной системе, построенной на идеях Тейлора и Форда. Социалистический город должен был породить совершенные условия для «нового быта»: устройство коллективного проживания, минимализация времени, потраченного, чтобы добраться до работы, создание парков и организация коллективного досуга [Altrichter 2003]. До сих пор почти не обращали внимания на реальное использование этих зданий, на людей, живших в ранних коммунах.

Советские города, спланированные директивным образом, вроде вновь созданных промышленных центров, предоставляли совершенно новый набор рабочих условий для планировщиков и архитекторов. Национализация собственности превратила государство в единственного собственника земли. Архитекторы могли не беспокоиться по поводу частных собственников и смело планировать. Эта перспектива (которая, кстати говоря, оказалась под ударом жестокого экономического кризиса, в то время как первая пятилетка породила в СССР подъем — так, по крайней мере, казалось из-за грани-

цы [Altrichter 2003; Bodenschatz, Post 2003; Bohn 2009; Brumfield 1993; Quilici 1976]) привлекла несколько лучших архитекторов Европы. После Второй мировой войны московский генеральный план 1935 г. с его монументальными зданиями и большими бульварами для ритуальных шествий и парадов в центре города, парками культуры и отдыха, монументальными статуями стал обязательным образцом для реконструкции социалистических столиц. Он реализовывался в новых соцстранах, а также во всех советских республиках.

После смерти Сталина Хрущев сделал приоритетными решение проблемы нехватки жилья и создание легкой промышленности. Жилищная кампания, обещание маленькой квартиры для каждой семьи стали его политическим капиталом. На практике это было реализовано с помощью индустриализованного массового строительства, в котором использовались готовые элементы и новые материалы. Строительство переместилось из центра городов на свободные площади на окраинах. Стали возникать огромные районы, состоявшие из больших жилых кварталов. Сталинские постройки возводились вдоль широких бульваров (подобные кварталы со сквозными проходами и дворами в XIX в. возводились на Западе, например в Барселоне).

В СССР с конца 1950-х гг. микрорайоны строились таким образом, чтобы между домами оставались пространства. Они задумывались как автономные районы на 6000–20 000 жителей и включали полную инфраструктуру услуг вроде магазинов, прачечных, детских садов, школ и столовых. Районы щедро засаживались деревьями и должны были выглядеть как парки. То, что советские города не имели предместий и маленьких городков, окружающих их в качестве пригородов, отличало их от западно-европейских и американских городов, а также от новых городов Латинской Америки, Африки и Азии с их барачными поселками на окраинах.

Городское строительство

В социалистических странах городское планирование отличалось, а иногда даже находилось в отрыве от реального городского строительства. То, что реализовывалось на практике, по большей части зависело от параметров плановой экономики, в которой промышленное производство всегда считалось более важным, чем жилищное строительство. Городской рост сопровождался меняющимися приоритетами, нехваткой снабжения и строительных рабочих, организационными и инфраструктурными проблемами. Неконтролируемая миграция оказывалась насмешкой над любыми попытками ограничить расширение городского пространства, поскольку рост промышленности тре-

бовал рабочих. Поэтому общие концепты раз за разом приспособлялись к реальной ситуации. Рабочие продолжали жить в бараках на окраинах городов, в коммунальных квартирах, общежитиях; большое число людей проживало во временках.

Результатом всего это стал тот «растрепанный» облик, который социалистический город демонстрировал наблюдателю. Линии зданий и высота крыш менялись на расстоянии нескольких шагов. Несмотря на все усилия, жилищное строительство так никогда и не смогло удовлетворить растущий спрос [Andrusz 1984; Bohn 2008].

Городская культура

Для специфически советских форм урбанизации (само понятие урбанизации до Второй мировой войны считалось капиталистическим [Bohn 2009: 8]) и городского развития примечательной чертой является устойчивая взаимопроницаемость города и деревни. Постоянная миграция из деревень привела к «одеревенчиванию» городов [Hoffmann 1994]. Советские власти стремились воспитать прибывающее население через кампании по прививке «культурности», которые варьировались от распространения гигиенических знаний и навыков до руководств, популярных журналов и оформления витрин. Все это было нацелено на распространение городского образа жизни. Даже сами города рассматривались как действующие лица образовательного процесса, прививавшего культурный образ жизни [Kelly 2001].

Особенно это касалось Петербурга / Ленинграда, города, считавшегося в стране наиболее культурным. Петербуржцы, а затем и ленинградцы наделялись высоким культурным капиталом. Их манеры говорить, ходить, есть принимались в качестве образца. В своем стремлении стать культурными горожанами социально амбициозные мигранты из сельской местности охотно принимали поправки и советы, которые давали им «коренные ленинградцы» в переполненных коммуналках. Дореволюционные буржуазные ценности трансформировались и переводились в доминирующий советский дискурс культурности и становились средствами советизации «отсталого» деревенского населения. Миф о культурном метрополисе был преобразован в жизнь советского культурного города [Obertreis 2009].

Стилизованный образ Петербурга как культурной столицы был обращен ко всем социальным стратам советского общества и выполнял объединяющую функцию для *воображаемого сообщества питерцев*. Однако историкам следует внимательнее посмотреть на его постсоветское бытование.

Изучение полученных по наследству мифов и характерных особенностей можно было бы с пользой расширить, выйдя за пределы Петербурга и Москвы: например, города вроде Нижнего Новгорода [Evtuhov 1998] и Одессы [Herlihy, Gubar 2008] могли бы стать достойными объектами исследования.

Городская топография и пространство, архитектура и идеология

В 1980-х гг. была предложена новая точка зрения на город — заговорили о расшифровке городской поверхности как социального текста. Образцовым исследованием такого рода стало «Moskau lesen» («Читая Москву») Карла Шлэгеля [2000]. Истолкование городских поверхностей привело к исследованиям социальных и символических топографий [Slezkine 1994; Schlögel 1998]. Социолог Хартмут Хеуссерманн применил этот подход к материалу Берлина [2002].

В недавних работах представлена попытка чтения городского пространства Москвы в 1937 г. [Schlögel 2008], меняющихся социальных топографий конкретных районов (Остоженка [Gdaniec 2005], Арбат, Лубянка, Новые Черемушки, Сухаревка и Тверская [Rüthers 2007]), а также коммунальной квартиры как характерного городского пространства социалистических Москвы и Ленинграда ([Pott 2009]. (О Петербурге см. также: [Gerasimova 1999; Герасимова 2000; Obertreis 2004; Утехин 2001].) Анализируются пространства для отдыха [Kucher 2007], индивидуальные здания, такие как Дом на набережной [Kozyrev 2000; Коршунов, Терехова 2002], Дворец Советов [Hoisington 2003; Chibireva 2002; Gentes 1998; Dmitrieva 1997], а также метро [Neutatz 2003; Jenks 2000; Bouvard 1999]. Есть и работы, посвященные взаимоотношениям между публичным и приватным пространствами, особенно в контексте жилища [Siegelbaum 2006; Crowley 2002; Gerasimova 2003].

Советское городское жилье

История жилья могла бы стать продуктивным подходом к советской социальной истории. Эта тема охватывает длительный период. Революционные идеи коллективного проживания и социальной реформы, нацеленной на создание домовых коммун. Коммунальные квартиры и рабочие бараки 1920–1930-х гг. Индустриальные строительные эксперименты (крупнопанельное домостроение) 1950–1960-х гг. [Martiny 1983; Brumfield, Ruble 1993; Harris 2003]. Постсоветская приватизация, джентрификация, переселение бывших обитателей и преступления. Последнее было связано с недвижимостью, появлением новых

форм, вроде огороженных и охраняемых жилых кварталов и т.д., включая дискурсы, сопровождавшие эти процессы.

Городские социальные топографии должны быть дополнены историей социально-экономической классификации городов, существовавшей в рамках советской городской системы, историей системы закрытых городов, а также миграционного контроля посредством внутренних паспортов и ограничения прав на проживание [Buckley 1995].

Некоторые темы, вроде коммуналок или воспитания сельских мигрантов в духе «культурности», уже стали объектами глубоких исследований [Reid 2002; 2005; Buchli 1997; Kettering 1997; Cooke 1997]. Другие ждут своего открытия. Еще не написана история различных форм жилья (бараки, общежития и частные дома). Кроме того, следует провести сравнительное исследование городских жилищ с сельскими. Жилищная кампания в эпоху Хрущева была убедительно проанализирована в качестве средства социальной мобилизации [Harris 2003]. Стоило бы связать эту кампанию с городской социальной историей, а также с изучением типов жилищного строительства в долгосрочной исторической перспективе. Многообразие городских жизненных стилей в разные эпохи у разных социальных групп, а также в разных городах и регионах можно исследовать, используя личные фотографии и воспоминания.

Провинциальный город как место социальных трансформаций

Гораздо меньше выходило работ о «нестоличных» городах и периферии, однако существует несколько хороших примеров и такого типа исследований. Заметной является тенденция уходить от монографий, посвященных одному городу, к исследованию города как части большой системы или цивилизации. Городская история превращается в исследования частных случаев, проливающих свет на определенные проблемы.

В качестве места, где строилась особая форма цивилизации, анализировался Магнитогорск [Kotkin 1995]. Объектом исследования, посвященного убыванию населения, стало Иваново [Shrinking Cities 2004–2005]. Как пример появления старых / новых торговых мест после краха социализма изучался Нижний Новгород [Schlögel 1991], а Минск исследовался как вариант советского городского развития [Bohn 2008]. Ярославль рассматривался на предмет последствий появления капитализма [Ruble 1995], Воронеж — создания и истории советских властных ритуалов в городских пространствах [Rolf 2006]. Однако все еще нет работ по истории городов Центральной Азии и других городов, удаленных от центра.

Городская история и типы модерности

Интересно вписать городскую историю в дебаты, посвященные модерности и традиционализму [Kotsonis 2000; Hedin 2004; von Hagen 2004; David-Fox 2006], а также связать ее с дискурсами о Евразии и глобализации. Некоторые историки города (а также социологи и географы) разделяют теорию модернизации и различают знаки конвергенции, в то время как другие используют городскую историю для того, чтобы продемонстрировать возникновение именно множества сосуществующих друг с другом типов модерности. Особый интерес представляет вопрос о том, является ли Москва глобальным городом, превращается ли она в него [Brade, Rudolph 2001; Rudolph, Brade 2003; Stadelbauer 1989].

В традиционной городской истории понятия города и общества были тесно связаны. Город понимался как место, где концентрируются коммуникации, где собираются вместе люди. Город — это пространство, общественное по своей сути, именно здесь принимаются важные решения. Однако это представление о городе как месте локализации общества стало предметом полемики. На сцене возник соперничающий конструкт, названный «междугород», «Zwischenstadt» [Sieverts 1999; Sieverts 2003], который означает городской агломерат или большой город с маленькими городками в качестве пригородов (conurbation), переполненное городское пространство, «non-place urban realms». Говорят также о «городах без границ» («Edgeless Cities») [Lang 2003; Bruegmann 2005] и «городах на краю» («Edge Cities»), о размывании публичных пространств и возникновении искусственных, находящихся в собственности корпораций пространств, таких как торговые центры или огороженные жилые кварталы, находящиеся под охраной (gated communities). Возник и призрак цифровой эпохи, хотя пока и лишь на бумаге: поскольку все вскоре будут работать на дому, города уйдут в киберпространство, в котором осуществляется все большее количество коммуникаций [Lindner 2000; Sieverts 2003].

Адекватна ли эта картина для Восточной Европы? Подобная тенденция может реализоваться только в том случае, если тот или иной тип «городской», по сути своей, инфраструктуры существует везде (в частности, когда Интернет дошел до прежде отдаленных районов). Это может занять определенное время, учитывая колоссальные масштабы пространств, которые необходимо охватить. Однако это представляется интересной идеей в связи с городскими пространствами более ранних поколений, например новыми сибирскими городами хрущевской эпохи, в которых могло не быть постоянных жителей и которые были населены сменявшимися друг друга командами (что-то

вроде построенных на воде платформ для добычи полезных ископаемых).

Какие проблемы являются наиболее важными на сегодняшний день?

Городская история является привлекательной, поскольку города встроены в сети экономических, политических и культурных отношений. Они связаны с окрестными территориями, а также с региональной, национальной и транснациональной экономиками. Люди, информация и товары перемещаются в города и из городов. С этой точки зрения, область городской истории, расположенная между историей повседневности, микроисторией и глобальной историей, является безграничной.

Я предлагаю выделять четыре сферы для группировки научных подходов к городской истории.

1. Социальная история

Эта область структурирована городской тематикой, связанной с социальной историей, ее интересом к процессам сегрегации, а также общим категориям и теориям, таким как модернизация, создание публичной сферы, глобализация. В этой области в центре внимания оказываются социальные топографии, городские классы, этнические и профессиональные группы, а также гендер. Кроме того, мы должны обратиться к исследованию новых категорий: поколенческие группы, такие как дети и старики, мигранты разного уровня, бизнесмены-эмигранты, низшие слои общества, наемные работники (включая «работающих бедных»), а также те, кто не попадает на рынок труда. Другими темами могут стать формы общественных отношений (например, между соседями), городское жилище и городские стили жизни.

Социологи публикуют скрупулезные исследования, посвященные социальным топографиям; историкам следует обратиться к изучению социальных топографий общегосударственного масштаба, структурирующих городскую систему. Между самими городскими поселениями существует социальная сегрегация по уровню «культурности», климату, снабжению, товарам. Эту тему затрагивают регулярно, но неглубоко. Архитектура и планирование связаны не только с социальной сегрегацией и авторепрезентацией города (причем мишенью в данном случае часто оказываются соперничающие города), но и с общественной безопасностью.

Конфиденциальность, городская безопасность и контроль являются новыми исследовательскими темами. Междисципли-

нарная рабочая группа «Города и безопасность» (Arbeitskreis «Stadt und Sicherheit») при университете Лейбница в Ганновере занимается подготовкой исследовательского проекта «Безопасность в городских пространствах» («Sicherheit in städtischen Räumen»), изучая ситуацию с 1970-х гг. Исследователи наблюдают растущий спрос на «безопасность» и динамику контроля публичных городских пространств. Озабоченность безопасностью в условиях городской среды будет изучаться в исторической перспективе и с привлечением транснационального сравнительного подхода.

В контекст проблематики безопасности, понятой в широком смысле, мы также можем помесить историю городского освещения, гигиены, движения и общественного транспорта, городской инфраструктуры, экономики, рынков.

2. Реляционные сети, городские системы

Следует принимать во внимание структуры и сети, сформированные отношениями между городами: речь идет, например, об отношениях города и деревни, а также обмене товарами и мигрантами. Существуют сложные «городские системы», которые обладают собственными историями, к тому же многоуровневыми: региональными, национальными, глобальными. Мы должны исследовать факторы позиционирования, такие как размер города и его местоположение; различия в развитии и факторы развития.

3. Теория и метод: повороты, подходы, поля значений

Эта область — сфера теории и метода, где предметом обсуждения становятся следствия для городской истории «поворотов» в гуманитарных науках. Растет влияние других дисциплин и Cultural Studies вообще на городскую историю — вероятно, наиболее влиятельными оказываются социология, антропология, городская этнография, география, история архитектуры, исследования в области визуальной культуры.

Культурный, лингвистический, пространственный, визуальный, перформативный и глобальный «повороты» уже применялись или применяются к изучению социалистических, советских и постсоветских городов, однако остаются большие территории и новые земли, к которым еще не обращались.

Пространственный поворот научил нас быть внимательными к городским пространствам как социально сконструированным и коммуникативным. Города все еще воспринимаются как сцены, где исполняются политические и другие ритуалы. Однако роль пространств, в которых исполняются ритуалы, оказывается оспоренной. Средства массовой информации ста-

новятся соперничающими с ними пространствами. Возможно, важные решения больше не принимаются массами, что мы наблюдали в 1989 г. в Праге и Риге, массами, поющими или гремющими ключами. Во время августовского путча в Москве в 1991 г. Останкино оказалось столь же важным местом, как и Белый дом. Развиваются новые формы общественной жизни и коммуникации. На сегодняшний день более существенно то, что политики говорят не в парламентах, а на ток-шоу. При условии продолжающейся цифровой революции и Web 2.0 можно задать вопрос о том, не должны ли будут позиционировать себя города в компьютерных играх или других формах визуальных пространств. Какие проблемы эта ситуация ставит перед городской историей? Нам следует присмотреться к перформативным действиям: кто что сделал и где. Что происходило с названиями улиц, памятниками, а также местами памяти во время революций 1991 г. в разных местах (не только в столицах, но также в региональных центрах и провинциальных городах)?

А что происходит с *ментальным картографированием* в разные эпохи? Внутри городов и вокруг возникают новые полупубличные пространства. Пешеходные зоны и аркады заменены торговыми центрами. Эти принадлежащие корпорациям пространства отмечены мерами безопасности и контроля вроде видеокamer. Закрытые и охраняемые кварталы (*gated communities*) указывают на возникновение новых социальных классов, требующих новых форм сегрегации в процессе изменения социальных топографий постсоветских городов [Andrusz 2004; 2006].

И если пространства являются социально сконструированными, какую роль играют эмоции в историческом процессе, например в определении того, что такое «свое жилище»? Подпитывают ли эмоции антиурбанизм? Как представления о качестве жизни и об условиях жизни соотношены с эмоциями?

4. Краеведение, пространственно-временная специфика

Эта область отведена изучению восточно-европейских, социалистических и постсоциалистических городов и их специфики. Как уже упоминалось, восточно-европейская городская история имеет дело с разными формами городской юрисдикции на территории от Польши до Средней Азии. Основным моментом различия является в данном случае судебная сторона. Маленькие и большие города Российской империи состояли из целого ряда юридических и административных форм, варьиовавшихся от европейских до восточных [Hausmann 2002: 97–113; Hausmann 1979; Hamm 1976]. В периоды Средневековья и ран-

него Нового времени четкие границы западно-европейского города с его законами резко контрастировали с русским городом, лишенным ясных границ. В советские же времена рост городов строго ограничивался генеральными планами.

В эпоху социализма модели общества определялись не только культурно, но и идеологически. Дома и города отчетливо рассматривались как модели общества, которое нужно построить, «строительство коммунизма» было сильной метафорой [Ugus-sowa 2004]. В этом смысле социалистическая урбанизация пошла по особому пути.

Эти четыре области взаимосвязаны и пересекаются друг с другом во многих точках. На всех уровнях заметны влияния других дисциплин, а также необходимость позиционирования городской истории в общем поле истории.

Более чем когда бы то ни было историки должны стремиться к тому, чтобы связать городскую историю с тематикой, которой занимается история архитектуры, технологии и туризма. До настоящего времени отсутствует сравнительная культурная история высотных зданий и небоскребов, которые наделены специфическими смыслами не только в Америках, Азии и Европе, но и в советской истории, а также в постсоветской России. Высотные здания приобретают значимость как на местном городском, так и на репрезентативном, экстравертном, транснациональном уровне. История некоторых зданий, таких как Сталинский дворец в Варшаве (Palac Kultury) вписывается в политическую, экономическую, социальную и культурную историю и, конечно, в историю польско-русских отношений.

Недавно опубликованы материалы проекта, посвященного сравнительному изучению феномена «сжимающихся городов» (2004–2005); и может быть, неплохо было бы обратиться к исследованию возникновения городских периферий в постсоциалистической Европе. Американские и европейские предместья связаны с широкой доступностью автомашин [Siegelbaum 2006]. У них не было эквивалента в социалистических странах, обладавших иными параметрами соцобеспечения. В социалистических пригородах ведущую роль играли массовая застройка и стандартизированные микрорайоны. За последними жилыми кварталами совершенно неожиданно начиналась сельская местность. Городские границы, установленные в советские времена, все еще существуют.

Острым вопросом, стоящим сегодня перед Петербургом, например, является вопрос о том, расширять ли границы, чтобы смягчить пространственное давление. Эти границы являются причиной того, почему сдвиг от центра к появлению городских

агломераций (conurbation), к «междугороду», «Zwischenstadt» (Sieverts), который занимает западных городских историков и географов, еще не произошел. Дачные участки обладали ограниченной инфраструктурой (рудиментарное электрохозяйство при отсутствии индивидуального водопровода и канализации, а также центрального отопления). Данные поселения были предназначены для проживания только летом [Lovell 2003].

Тем не менее на них следует смотреть как на часть городских агломератов не только потому, что они компенсировали городскую нехватку жилого пространства, но и потому, что за последние несколько лет они стали частью процесса джентрификации. Теперь это места строительства загородного жилья «новых русских», а также огороженных и охраняемых жилых кварталов (*gated communities*) для возникающего среднего класса и *expat communities* — растущего числа иностранных высококвалифицированных специалистов, временно проживающих в России.

Другим объектом джентрификации являются городские области с низкой плотностью, вроде города-сада Сокол в Москве [Scheide 2003]. При растущей автомобилизации постсоциалистических обществ «Zwischenstadt» находится в процессе формирования.

Соответственно историки должны попытаться проследить причины и следствия догоняющей автомобилизации. Сравнительный подход может обратиться к знакам возникновения чего-то похожего на «города на краю» («edge cities»), по крайней мере на пригороды двух российских столиц. Эти города размещены в месте больших автомагистральных узлов на периферии больших городов. Они состоят из сочетания торговых центров и офисных зданий, закладываются для образованных дам из пригородов, которые работают на второстепенных офисных должностях за скромную зарплату. Являются ли большие торговые центры вокруг Москвы началом подобных процессов? [Rudolph, Brade 2003: 1408].

Москва как Город проводит глобальную городскую политику, пытаясь встроиться в ряд мировых городов, возводя небоскребы и офисные площади. Самым известным примером является международный деловой центр «Москва-Сити». Некоторые проявления этого процесса заметны и в Петербурге. Тем временем социокультурный и экономический разрыв между городом и *окрестной территорией*, который возник в советскую эпоху, не уменьшился с 1991 г., но скорее вырос [Oswald, Voronkov 2004: 318].

В качестве начального этапа изучения этих процессов нам нужны исторические работы, которые включали бы насыщенные описания и социальные топографии множества разных советских и постсоветских (а также других восточно-европейских) городов и типов их развития, увиденных с разных точек зрения. Нам нужна сравнительная, децентрированная история, написанная с точки зрения периферии. Нам нужна городская история Харбина и Воркуты. В советскую эпоху были города, въезд в которые был запрещен во многих смыслах. Нам нужна история этих закрытых городов [Schlegel 2009; Vasilenko 2006; Герчик 1995].

Еще не стала объектом исследования советизация, проводившаяся путем переселения целых народов, и ее воздействие на советские города, хотя феномен тотальной смены городского населения во время и после войны часто упоминается [Bohn 2009; Schlögel 2005].

Нам нужны исторические исследования городских и межгородских инфраструктур, которые являются носителями имперских значений — вроде системы метрополитена и железнодорожных станций, газопроводов, портов, связывающих одни города с другими или с провинциями; нам нужна история соперничества между городами. Дистанции и цены за перевозку обладают немалым значением в больших странах, а население все еще ностальгически вспоминает дешевые билеты советской поры.

Нам следует критически проанализировать такие концепты, как Россия, русские и «русскость» через призму городской истории Российской и советской империй, а также постсоветской Восточной Европы.

Культурный поворот заставил обратить внимание на мифологические смыслы и «характеры» городов. Города читаются как тексты, и все более и более их поверхности также рассматриваются как образы и анализируются в визуальном контексте. Эти тексты и образы соотнесены с приписываемыми им смыслами и свойствами, с атмосферой города. Для образа города этот «мягкий» фактор оказывается очень важным. Каждый большой город обладает своим собственным «характером», делающим его уникальным. Этот характер складывается из разных элементов, например безошибочно узнаваемого силуэта; характер города возникает прежде всего исторически, он гибок, конструируется и транслируется медиально.

Для того чтобы проанализировать, как конструируется «характер» города, историки могут обратиться к телевизионным сериалам вроде «Miami Vice», «Streets of San Francisco», «Tatort»

и другим криминальным историям, местом действия которых являются Франкфурт, Дюссельдорф или Берлин. У нас есть и московский сериал «Петровка, 38» (римейк советского фильма 1980 г.), и «Бандитский Петербург», и фильм «Брат» (1997). Больше число советских визуальных источников вызывают к анализу: фотографии (профессиональные и в особенности любительские), телевизионные изображения. Советские пропагандистские фильмы, такие как «Счастливая Москва» (Александр Медведкин, 1938), или популярные кинокартины, вроде «Иронии судьбы» (Эльдар Рязанов, 1975), «Москва слезам не верит» (Владимир Меньшов, 1979), а также недавний сериал «Ликвидация» могут многое рассказать нам о репрезентации жизни в советских и постсоветских городах [Urussowa 2004].

Часто используемое панорамирование городов с высоты птичьего полета, которое во многих из этих фильмов играет центральную роль (вводные кадры подобного типа также использовались в хите эпохи гласности «Маленькая Вера» (1988) режиссера Василия Пичула), может быть возведено в контексте визуальной истории к городским видам Средневековья (в университете Цюриха группа историков, которую возглавляет Бернд Рек, исследует «образы города Нового времени»).

Если говорить о прошлом, превращение города в объект изображения отнюдь не являлось обычным делом. Средневековые города были хаотичными по застройке и зловонными. Однако когда появилась городское планирование, итальянские архитекторы Средних веков и Возрождения начали создавать эстетические образы «прекрасного города». Городской вид превратился в символ местной гордости, а мощь и влияние амбициозных городов были зримыми в самом их облике. Это нередко приводило к идеализации городских изображений, которые очень напоминают Генеральный план реконструкции Москвы 1935 г.

Эти образы и места памяти должны стать объектами исследования городских историков, поскольку они показывают, как конструируется и продается характер города. Что такое город в советской и постсоветской культуре? Как он запоминается? Насколько важна война и послевоенные годы для образов советских городов? Как сегодня говорят люди о советском городе или о социалистической Бухаре и социалистическом Бухаресте? Как порождаются и структурируются эти воспоминания? Являются ли города объектами памяти вообще? Влияют ли образы «старой Варшавы» или «старой Москвы» на жизнь новых поколений?

И наконец не будем забывать, что городская история — ничто без параллельной истории сельской местности, деревни и ландшафтов, частью которых является город [Dobrenko 2003].

Библиография

- Герасимова Е.* Советская коммунальная квартира как социальный институт: историко-социологический анализ (на материалах Петрограда-Ленинграда, 1917–1991): Дис. ... к.с.н. СПб., 2000.
- Герчик К.Б.* Легендарный Байконур. М.: Велес, 1995.
- Коршунов М., Терехова В. Тайны и легенды Дома на Набережной. М., 2002.
- Утехин И.* Очерки коммунального быта. М.: О.Г.И., 2001.
- Altrichter H.* „Living the Revolution“. Stadt und Stadtplanung in Stalins Russland // Utopie und politische Herrschaft im Europa der Zwischenkriegszeit / W. Hartwig (ed.). München: Oldenbourg 2003. P. 57–75.
- Andrusz G.D.* Housing and Urban Development in the USSR. Basingstoke, 1984.
- Andrusz G.D.* The Built Environment in Soviet Theory and Practice // International Journal of Urban and Regional Research. 1997. Vol. 11. No. 4. P. 478–499.
- Andrusz G.D.* A Polemic on Post-Socialist Cities // Anthropolis. 2000. Vol. 14. No. 2. <<http://www.anthropolis.de/andrusz.htm>>.
- Andrusz G.D.* From Wall to Mall. Unpublished conference paper, ‘Winds of Societal Change: Remaking the Post-Communist Cities’. University of Illinois, June 18–19 2004.
- Andrusz G.D.* Wall and Mall: a Metaphor for Metamorphosis // S. Tsenkova, Z. Nedović-Budić (eds.). The Urban Mosaic of Post-Socialist Europe: Space, Institutions and Policy. Heidelberg: Physica, 2006. P. 71–90.
- Bater J.H.* The Soviet City. Ideal and Reality. L., 1980.
- Bodenschatz H., Post C.* (eds.) Städtebau im Schatten Stalins. Die internationale Suche nach der sozialistischen Stadt in der Sowjetunion 1929–1935. Berlin, 2003.
- Bohn T.M.* Minsk — Musterstadt des Sozialismus. Stadtplanung und Urbanisierung in der Sowjetunion nach 1945. Köln, 2008.
- Bohn T.M.* Von der „europäischen Stadt“ zur „sozialistischen Stadt“ und zurück? Zur Einleitung’ // Bohn T.M. (ed.). Von der „europäischen Stadt“ zur „sozialistischen Stadt“ und zurück? Urbane Transformationen im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts. München, 2009. S. 1–20.
- Bouvard J.* Symbolische Architektur in der Stalin-Ära: Die Moskauer Metro // A. Pribersky, B. Unfried (eds.). Symbole und Rituale des Politischen. Ost- und Westeuropa im Vergleich. Frankfurt am Main: Lang, 1999. S. 119–133.
- Brade I., Rudolph R.* Global City Moskau? Die russische Hauptstadt an der Schwelle zum 21. Jahrhundert // Osteuropa. 2001. Vol. 51. No. 9. S. 1067–1086.
- Bronger D.* Metropolen, Megastädte, Global Cities: die Metropolisierung der Erde. Darmstadt: Wiss. Buchges., 2004

- Bruegmann R.* *Sprawl. A Compact History.* Chicago, 2005.
- Brumfield W.C.* *A History of Russian Architecture.* Cambridge, 1993.
- Brumfield W.C., Ruble B.A.* (eds.) *Russian Housing in the Modern Age. Design and Social History.* Cambridge, Mass., 1993.
- Buchli V.* Khrushchev, Modernism, and the Fight Against Petit-Bourgeois Consciousness in the Soviet Home // *Journal of Design History.* 1997. Vol. 10. № 2. P. 161–176.
- Buckley C.* The Myth of Managed Migration: Migration Control and Market in the Soviet Period // *Slavic Review.* 1995. Vol. 54. P. 896–916.
- Castells M.* *The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society.* Oxford, 2003.
- Castells M.* (ed.) *The Network Society. A Cross-Cultural Perspective.* Cheltenham, 2004.
- Chibireva N.* Airbrushed Moscow. The Cathedral of Christ the Saviour // N. Leach (ed.). *The Hieroglyphics of Space. Reading and Experiencing the Modern Metropolis.* L., 2002. P. 70–79.
- [Club of Rome 1972] *The Limits of Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind.* N.Y.: Universe Books, 1972.
- Cohen J.-L., de Michelis M., Tafuri M.* *URSS 1917–1978. La Ville, l'architecture.* P.: L'Equerre, 1979.
- Colton T.* *Moscow. Governing the Socialist Metropolis.* Cambridge, Mass., 1995.
- Cooke C.* Beauty as a Route to the “Radiant Future”: Responses of Soviet Architecture // *Journal of Design History.* 1997. Vol. 10. № 2. P. 137–160.
- Crowley D.* Moving Warsaw. The Public Life of Private Spaces, 1949–1965 // D. Crowley, S.E. Reid (eds.). *Socialist Spaces. Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc.* Oxford, 2002. P. 181–206.
- Crowley D., Reid S.E.* (eds.) *Socialist Spaces. Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc.* Oxford, 2002.
- David-Fox M.* Multiple Modernities vs. Neo-Traditionalism: On Recent Debates in Russian and Soviet History // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.* 2006. Vol. 54. № 4. P. 535–555.
- Dmitrieva M.* Christus-Erlöser-Kathedrale versus Palast der Sowjets. Zur Semantik zeitgenössischer Architektur in Moskau // E. Cheauré (ed.). *Kultur und Krise: Russland 1987–1998.* Berlin, 1997. P. 121–136.
- Dmitrieva M.* Dekorationen des Augenblicks im Massentheater der Revolution. Petrograd, Kiew und Witebsk 1918–1920 // A. Bartetzky, M. Dmitrieva, S. Troebst (eds.). *Neue Staaten — neue Bilder? Visuelle Kultur im Dienst staatlicher Selbstdarstellung in Zentral- und Osteuropa seit 1918.* Köln, 2005. S. 117–131.
- Dobrenko E.A., Naiman E.* (eds.) *The Landscape of Stalinism. The Art and Ideology of Soviet Space.* Seattle: University of Washington Press, 2003.
- Driver F., Gilbert D.* (eds.). *Imperial Cities. Landscape, Display and Identity.* Manchester, 1999.

- Epstein M.* Russo-Soviet Topoi // E. Dobrenko, E. Naiman (eds.). The Landscape of Stalinism. The Art and Ideology of Soviet Space. Seattle, 1993. P. 279–282.
- Evtuhov C.* Voices from the Provinces: Living and Writing in Nizhnii Novgorod, 1870–1905 // Journal of Popular Culture. 1998. Vol. 31. No. 4. P. 33–48.
- Feldbauer P., Husa K., Pilz E., Stacher I.* (eds.) Mega-Cities. Die Metropolen des Südens zwischen Globalisierung und Fragmentierung. Wien, 1997.
- French R.A., Hamilton F.E.J.* (eds.) The Socialist City. Spatial Structure and Urban Policy. Chichester, 1979
- French R.A.* Plans, Pragmatism and People. The Legacy of Soviet Planning for Today's Cities. L., 1995.
- Gdaniec C.* Kommunalka und Penthouse. Stadt und Stadtgesellschaft im postsowjetischen Moskau. Münster: LIT, 2005.
- Gentes A.* The Life, Death and Resurrection of the Cathedral of Christ the Saviour, Moscow // History Workshop Journal. 1998. Vol. 46. P. 63–95.
- Gerasimova E.* The Soviet Communal Apartment // J. Smith (ed). Beyond the Limits. The Concept of Space in Russian History and Culture. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 1999. P. 107–131.
- Gerasimova K.* Public Spaces in the Communal Apartment // G.A. Rittersporn et al. (eds.). Zwischen partei-staatlicher Selbstinszenierung und kirchlichen Gegenwelten: Sphären von Öffentlichkeit in Gesellschaften sowjetischen Typs / Between the Great Show of the Party-State and Religious Counter-Cultures: Public Spheres in Soviet-Type Societies. Frankfurt am Main: Lang, 2003. P. 185–193.
- Greenhalgh P.* Ephemeral Vistas. The Expositions Universelles, Great Exhibitions and World's Fairs, 1851–1939. Manchester, 1998.
- Hausmann G.* Fortschritt oder Kolonialismus? Stadtordnung und Städte an der nicht-russischen Peripherie // G. Hausmann (ed.) Gesellschaft als lokale Veranstaltung. Selbstverwaltung, Assoziierung und Geselligkeit in den Städten des ausgehenden Zarenreichs. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. S. 97–112.
- Hagen M. von.* Empires, Borderlands, and Diasporas: Eurasia as Anti-Paradigm for the Post-Soviet Era // The American Historical Review. 2004. Vol. 109. No. 2. P. 445–468.
- Hamm M.F.* The City in Russian History. Lexington: The University Press of Kentucky, 1976.
- Harris S.E.* Moving to the Separate Apartment. Building, Distribution, Furnishing, and Living in Urban Housing in Soviet Russia, 1950s – 1960s. Unpublished Ph.D dissertation, Univ. of Chicago, 2003.
- Hashamova Y.* Aleksei Balabanov's Russian Hero: Fantasies of Wounded National Pride. Slavonic and East European Journal. 2005. Vol. 51. No. 2. P. 295–311.
- Haumann H.* Die russische Stadt in der Geschichte // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1979. Vol. 27. P. 481–497.

- Häussermann H.* Es muss nicht immer Metropole sein // D. Matejovski (ed.). *Metropolen: Laboratorien der Moderne*. Frankfurt am Main, 2000. P. 67–79.
- Hedin A.* Stalinism as a Civilization. New Perspectives on Communist Regimes // *Political Studies Review*. 2004. Vol. 2. No. 2. P. 166–184.
- Herlihy P., Gubar O.* The Persuasive Power of the Odessa Myth // J. Czaplicka, N. Gelazis, B.A. Ruble (eds.). *Cities after the Fall of Communism: Reshaping Cultural Landscapes and European Identity*. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press and Johns Hopkins University Press, 2008. P. 137–166.
- Hoffmann D.L.* *Peasant Metropolis. Social Identities in Moscow, 1929–1941*. Ithaca, 1994.
- Hoisington S.S.* “Ever Higher”: The Evolution of the Project for the Palace of Soviets // *Slavic Review*. 2003. Vol. 62. № 1. P. 41–68.
- Jenks A.* A Metro on the Mount. The Underground as a Church of Soviet Civilization // *Technology and Culture*. 2000. Vol. 41. No. 4. P. 697–724.
- Kelly C.* *Refining Russia: Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Kettering K.* “Ever More Cosy and Comfortable”: Stalinism and the Soviet Domestic Interior, 1928–1938 // *Journal of Design History*. 1997. Vol. 10. No. 2. P. 119–135.
- Khan-Magomedov S.O.* *Pioneers of Soviet Architecture: the Search for New Solutions in the 1920s and 1930s*. L.: Thames and Hudson, 1987.
- Kopp A.* *Town and Revolution: Soviet Architecture and City Planning 1917–1935*. L.: Thames and Hudson, 1970.
- Kopp A.* *Changer la vie, changer la ville: de la vie nouvelle aux problèmes urbains, U.R.S.S. 1917–1932*. P.: Union générale d’éditions, 1975.
- Kotkin S.* *Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization*. Berkeley, 1995.
- Kotsonis Ya.* Introduction: A Modern Paradox. Subject and Citizen in Nineteenth- and Twentieth-Century Russia // D.L. Hoffmann, Ya. Kotsonis (eds.). *Russian Modernity*. N.Y.: Macmillan, 2000.
- Kozyrev S.* The House on the Embankment // *Russian Studies in History*. 2000. Vol. 38. No. 4. P. 21–27.
- Kreis B.* *Moskau 1917–35; vom Wohnungsbau zum Städtebau*. Düsseldorf (Diss. Hochschule für bildende Künste Hamburg), 1984.
- Kucher K.* *Der Gorki-Park: Freizeitkultur im Stalinismus 1928–1941*. Köln, 2007.
- Lang R.E.* *Edgeless Cities. Exploring the Elusive Metropolis*. Washington D.C., 2003.
- Larsen S.* National Identity, Cultural Authority, and the Post-Soviet Blockbuster: Nikita Mikhalkov and Aleksei Balabanov // *Slavic Review*. 2003. Vol. 62. No. 3. P. 491–511.
- Leach N.* (ed.) *The Hieroglyphics of Space. Reading and Experiencing the Modern Metropolis*. L., 2002.
- Lenger F.* Stand und Perspektiven der europäischen Urbanisierungsforschung zu 20. Jahrhundert // T.M. Bohn (ed.). *Von der „europäischen Stadt“*

- zur „sozialistischen Stadt“ und zurück? Urbane Transformationen im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts. München, 2009. S. 21–33.
- Lenger F., Tenfelde K.* (eds.) Die Europäische Stadt im 20. Jahrhundert. Wahrnehmung — Endwicklung — Erosion. Köln: Boehlau, 2006.
- Lindner R.* Das Verschwinden der konkreten Orte // D. Matejovski (ed.)/ Metropolen: Laboratorien der Moderne. Frankfurt am Main, 2000. P. 321–323.
- Lovell S.* Summerfolk. A History of the Dacha, 1710–2000. Ithaca; NY: Cornell University Press, 2003.
- Martiny A.* Bauen und Wohnen in der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg. Bauarbeiterschaft, Architektur und Wohnverhältnisse im sozialen Wandel. Berlin, 1983.
- Matejovski D.* (ed.) Metropolen: Laboratorien der Moderne. Frankfurt am Main, 2000.
- Neutatz D.* „Schmiede des neuen Menschen“ und Kostprobe des Sozialismus: Utopien des Moskauer Metrobaus // W. Hartwig (ed). Utopie und politische Herrschaft im Europa der Zwischenkriegszeit. München: Oldenbourg, 2003. S. 41–56.
- Obertreis J.* Tränen des Sozialismus: Wohnen in Leningrad zwischen Alltag und Utopie 1917–1937. Köln: Boehlau, 2004.
- Obertreis J.* Die Leningrader Kultiviertheit (Kul'turnost') im 20. Jahrhundert // T.M. Bohn (ed.). Von der „europäischen Stadt“ zur „sozialistischen Stadt“ und zurück? Urbane Transformationen im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts. München: Oldenbourg, 2009. S. 311–332.
- Oswald I., Voronkov V.* Die „Transformation“ von St. Petersburg — Anmerkungen zur postsowjetischen Stadtentwicklung // W. Siebel (ed.) Die europäische Stadt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004. P. 312–320.
- Pott P.* Moskauer Kommunalwohnungen 1917 bis 1997: materielle Kultur, Erfahrung, Erinnerung. Zürich, 2009.
- Quilici V.* Città russa e città sovietica: caratteri della struttura storica: ideologia e pratica della trasformazione socialista. Milano, 1976.
- Reid S.E.* Cold War in the Kitchen. Gender and the De-Stalinization of Consumer Taste in the Soviet Union under Khrushchev // Slavic Review. 2002. Vol. 61. № 2. P. 211–252.
- Reid S.E.* The Khrushchev Kitchen. Domesticating the Scientific-Technological Revolution // Journal of Contemporary History. Vol. 40. No. 4. P. 289–316.
- Rittersporn G.T., Rolf M., Behrends J.C.* (eds.) Sphären von Öffentlichkeit in Gesellschaften sowjetischen Typs // Between the Great Show of the Party-State and Religious Counter-Cultures: Public Spheres in Soviet-Type Societies. Frankfurt am Main, 2003.
- Rolf M.* Das sowjetische Massenfest. Hamburg, 2006.
- Ruble B.A.* Money Sings: The Changing Politics of Urban Space in post-Soviet Yaroslavl. Cambridge, 1995.

- Rudolph R., Brade I.* Die Moskauer Peripherie. Transformation und globale Integration // Osteuropa. 2003. Vol. 53. No. 9–10. S. 1400–1415.
- Rüthers M.* Auf dem Weg nach Leningrad: Der Moskowskij Prospekt // M. Ackeret, F.B. Schenk, K. Schlögel (eds.). St. Petersburg. Eine historische Topographie. Frankfurt am Main, 2007. S. 159–172.
- Rydell R.W., Gwinn N.* (eds.) Fair Representations. World's Fairs and the Modern World. Amsterdam, 1994.
- Ryklín M.* Räume des Jubels. Totalitarismus und Differenz. Frankfurt am Main, 2003.
- Saldern A. von* (ed.) Stadt und Kommunikation in bundesrepublikanischen Umbruchszeiten. Stuttgart: Steiner, 2006.
- Sassen S.* Cities in a World Economy. Metropolen des Weltmarkts. Die neue Rolle der Global Cities. Frankfurt am Main, 1997.
- Sassen S.* Über die Auswirkungen der neuen Technologien und der Globalisierung auf die Städte // D. Matejovski (ed.) Metropolen: Laboratorien der Moderne. Frankfurt am Main, 2000. S. 29–50.
- Sassen S.* Die Verflechtungen unter der Oberfläche der fragmentierten Stadt // W. Siebel (ed.) Die europäische Stadt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004. S. 373–384.
- Scheide C.* Die Gartenstadt Sokol. Eine antiurbanistische Enklave in der Metropole // M. Rüthers, C. Scheide (eds.) Moskau. Menschen, Mythen, Orte. Köln, 2003. S. 142–147.
- Schlegel S.* Alltag im „Objekt“ Geheimhaltung, Druck und Privilegien in den „verbotenen“ Städten des sowjetischen Nuklearkomplexes // T.M. Bohn (ed.) Von der „europäischen Stadt“ zur „sozialistischen Stadt“ und zurück? Urbane Transformationen im stlichen Europa des 20. Jahrhunderts. München, 2009. S. 377–395.
- Schlögel K.* Das Wunder von Nishnij oder Die Rückkehr der Städte, Berichte und Essays. Frankfurt am Main, 1991.
- Schlögel K.* Kommunalka — oder Kommunismus als Lebensform. Zu einer historischen Topographie der Sowjetunion // Historische Anthropologie. 1998. Vol. 6. No. 3. S. 329–346.
- Schlögel K.* Moskau lesen. Die Stadt als Buch. [1984]. Berlin, 2000.
- Schlögel K.* Urbizid: Europäische Städte im Krieg // Schlögel K. Marjampole oder Europas Wiederkehr aus dem Geist der Städte. München: Hanser, 2005. S. 171–182.
- Schlögel K.* Terror und Traum: Moskau 1937. München: Hanser, 2008.
- Schör J.* Nachts in der großen Stadt. Paris, Berlin, London 1840–1930. München; Zürich: Artemis und Winkler, 1991.
- Schroer M.* Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006.
- Schwentker W.* (ed.) Megastädte im 20. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2006.
- Shrinking Cities: Complete Works 1, Analyse/Analysis <http://www.shrinkingcities.com/fileadmin/shrink/downloads/pdfs/L1_Studies1.pdf>.
- Siebel W.* (ed.) Die europäische Stadt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004.

- Siegelbaum L.H.* Cars, Cars and More Cars: The Faustian Bargain of the Brezhnev Era // L.H. Siegelbaum (ed.). *Borders of socialism. Private Spheres of Soviet Russia*. N.Y., 2006.
- Sieverts T.* *Zwischenstadt. Zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land*. Braunschweig, 1999.
- Sieverts T.* *Cities without Cities. An Interpretation of the Zwischenstadt*. L., 2003.
- Slezkine Yu.* The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // *Slavic Review*. 1994. Vol. 53. No. 2. P. 414–452.
- Stadelbauer J.* *Die Entwicklung von Moskau zur Weltmetropole* // *Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft*. 1989. Vol. 131. S. 189–228.
- Stites R.* *Crowded on the Edge of Vastness: Observations on Russian Space and Place* // *Beyond the Limits: The Concept of Space in Russian History and Culture* / J. Smith (ed.). Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 1999. P. 259–269.
- Tolstoy V., Bibikova I, Cooke C.* (eds.) *Street Art of the Revolution: Festivals and Celebrations in Russia 1918–33*. L.: Thames and Hudson, 1984.
- Urussowa J.* *Das Neue Moskau. Die Stadt der Sowjets im Film 1917–1941*. Köln, 2004.
- Vasilenko S.* *Die Stadt hinter Stacheldraht. Kapustin Jar/Russland* // K. Raabe, M. Sznajderman (eds.). *Last & Lost. Ein Atlas des verschwundenen Europas*. München: Suhrkamp, 2006. S. 196–220.
- Walkowitz J.R.* *City of Dreadful Delight. Narratives of Sexual Danger in Late Victorian London*. Chicago, 1992.
- Wendland A.V., Hofmann A.R.* (eds.). *Stadt und Öffentlichkeit in Ostmitteleuropa 1900–1939. Beiträge zur Entstehung moderner Urbanität zwischen Berlin, Charkiv, Tallinn und Triest*. Stuttgart: Steiner, 2002.
- Zimmermann C.* *Die Zeit der Metropolen. Urbanisierung und Grossstadtentwicklung*. 2nd ed. Frankfurt am Main: Fischer, 2000.

Перевод с англ. Аркадия Блюмбаума

АЛЕКСАНДР САДОВОЙ

К проблеме развития городской антропологии в субъектах РФ**1**

Вопрос требует конкретизации. С одной стороны, «город» всегда являлся объектом *междисциплинарного* исследования. Выделение «предметной области» по научным дисциплинам условно. Оно во многом определяется не столько спецификой изучаемой проблематики, сколько господствующим консерватизмом научных (социальных) институтов в определении «своего» места в финансовом потоке, направленном на «развитие» фундаментальной науки. Более или менее конкретно говорить можно о территориальных и хронологических рамках, разграничивающих предметную область исследований.

Историки старательно обходят социальные процессы последнего десятилетия. Социологи и экономисты избегают ретроспективного анализа, охватывающего несколько столетий. Специалисты в области этнической социологии с расширением территориальных рамок уходят от проблем сохранения традиционной этнической хозяйственной специализации, требующей применения компаративного анализа на основе массовых источников и существенного расширения хронологических рамок исследования. Этнографы при исследовании этнокультурных процессов по заданным таксонам, как правило, не затрагивают внешних факторов воздействия (детерминант), определяемых глобализацией. Речь идет о динамично меняющихся формах массовой культуры, стирающих социокультурные и этнические различия.

Применяемые методики и используемые источники информации также не определяют границ между дисциплинами. При исследовании социальных процессов зарубежными представителями «городской ант-

ропологии» используется настолько широкий спектр методик, что вычленишь по авторефератам диссертационных исследований отечественных историков, этнологов, социологов «узко-специализированные» методы фактически невозможно. Методики исследования, если они оговариваются, во многом определяются поставленными задачами, а не областью знаний.

С другой стороны, социальные процессы, протекающие в «городе», детерминируют формулировки действующих стандартов учебных дисциплин. Внутренняя взаимосвязь научного и учебного процесса в высшей школе также является формой проявления «состояния изучения города». За более чем двадцатилетний опыт подготовки историков, этнографов и социологов мне приходилось неоднократно заниматься синтезом порою взаимно противоречащих установок и рабочих гипотез из разных областей знаний, объединенных в англо-американской историографии направлением «городская антропология» (*urban anthropology*). Общность стандартов и предметной области проявляется по ряду разделов (тем), вводимых в учебные дисциплины «этнология», «социальная антропология», «этническая социология».

Если ограничиться западно-сибирским регионом и современными этносоциальными процессами, то современное «состояние» передачи знаний по основам этой дисциплины (преподавание, освоение техник исследования) в большинстве крупных университетов вполне приемлемое. Отводимое для социологов количество часов позволяет отразить достижения зарубежной и отечественной историографии через ознакомление с подходами «чикагской школы», результатами исследований московских специалистов в области этнической социологии, пилотажными исследованиями сибирских специалистов. Интернет-ресурс по текущим социальным процессам в мегаполисах выступает в качестве источника для рефератов и дипломных проектов по этнической социологии. В случае оформления «социального заказа» на исследование этносоциальных процессов собственно в городах Сибири в рамках общей проблематики «*urban anthropology*» вполне реально провести и переориентацию тематики предусмотренных учебными программами «производственных» и «преддипломных» практик. В этом случае круг исследователей можно существенно расширить, что позволит начать формирование единого компьютеризированного банка данных.

Что касается возможности специализации в этом направлении на исторических факультетах вузов Сибири, то они ограничены. С одной стороны, в региональной историографии проблемы истории формирования сибирских городов с момента их

создания до 80-х гг. XX в., социального состава и системы социокультурных связей разработаны достаточно подробно. Наиболее качественные разработки характерны для специалистов Томска, Новосибирска, Барнаула, Омска. На уровне краеведческого описания находятся разработки историков Кемерово, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Бийска и др. На этой основе в высшей школе уже разработаны и читаются специальные курсы, защищаются дипломы и диссертации.

В то же время стоит отметить, что подавляющее число разработок в этой области базируются на «марксистско-ленинской методологии» и крайне далеки от практикуемых в популяционной географии и социологии подходов и методик, основанных на статистической обработке массовых источников и ГИС-технологиях. Все это ставит вопрос о репрезентативности и сопоставимости сделанных историками выводов с выявленными тенденциями изменения во времени городской инфраструктуры.

Следует отметить и то, что этническая структура и этнические процессы в городской сибирской среде, как правило, никогда не являлись объектом отдельного внимания ни историков, ни этнографов. Более того, современные социальные процессы последних трех десятилетий, определяемые реформами, представляют «информационную лакуну» повсеместно в Западной Сибири. В рамках проводимых «этнографических практик» процессы межэтнического взаимодействия в городах Сибири, как правило, не исследовались.

В целом состояние сибирской историографии позволяет считать, что в случае необходимости и «желания» заведующими специализированными кафедрами по отечественной истории количество разработок по истории сибирских городов хотя бы останется на том уровне, который существует. Что же касается исследования современных этнических процессов в городской среде (включая этнодемографические и этнопотестарные), то здесь ситуацию иначе как «критической» назвать нельзя. В университетах Западной Сибири нам не известно ни одной устойчивой группы этнографов, имеющих реальные возможности (кадровые, финансовые, материальные) для организации этносоциального мониторинга в городах Сибири. Отсутствие специализированных кафедр, ограниченное количество часов, выделяемых на обучение «основам» этнографии, традиционное восприятие этнографии как дисциплины, ориентированной исключительно на исследование «пережитков» и этнокультурных процессов в сельской среде, — все это привело к тому, что монографических работ по проблемам современной «городской антропологии» в Западной Сибири фактиче-

ски нет. Конференций и круглых столов по проблематике, координирующих деятельность сибирских центров, не проводилось, средне- и долгосрочных комплексных программ по координации исследований немногочисленных групп этнографов в этой области также не осуществлялось.

Если рассматривать «городскую антропологию» в качестве «направления» научных исследований в системе РАН, то здесь ситуация не менее критическая. Исследование межэтнических и межнациональных отношений не включено в число приоритетных направлений, определяющих возможность получения гарантированного государственного финансирования. Это достаточно странно, если вспомнить, что одной из основных причин распада СССР была некомпетентность и неспособность федеральных органов власти выстроить научно обоснованную концепцию национальной политики, адаптированную к регионам. Вопрос о том, насколько «игнорирование» достаточно актуальной в мировом сообществе проблематики связано с заинтересованностью местных национальных элит и представителей силовых структур в объективной информации, остается открытым.

В настоящее время обе стороны получают гарантированное государственное финансирование, определяемое негласными и стереотипными «установками» на то, что ситуация в этой области далека от полного благополучия и разрешения. Действует принцип «чем хуже, тем лучше», поскольку это гарантирует устойчивое финансирование «дотационных» районов и решение на этой основе части социальных проблем. Для обеих сторон характерно и скептическое отношение не только к имеющимся научным разработкам, но и к собственно самой возможности научного анализа, направленного на поиск путей нейтрализации конфликтных ситуаций в национальных районах без применения силы или подкупа национальных элит. Далеко не случайно, что этносоциальные исследования в стенах СО РАН (Омск, Новосибирск, Кемерово, Горно-Алтайск) осуществляются в основном в сельской местности (или в среде диаспор) и на основе кратковременного финансирования отечественных и зарубежных фондов. Вклад региональных органов власти минимален.

В результате если в объект исследования входят городское население и проблемы межэтнического взаимодействия, эти исследования, как правило, имеют характер пилотажных. Для них характерен низкий уровень репрезентативности. Публикации имеют ограниченный тираж и труднодоступны для специалистов даже на региональном уровне. В силу всего изложенного эти исследования серьезного воздействия на органы власти и подготовку специалистов в области этнографии и эт-

нической социологии в университетах Западной Сибири в настоящее время не оказывают.

Если проследить взаимосвязь между актуальностью текущего исследования городской среды и состоянием ее изученности, то сложившаяся в Сибири ситуация также полна парадоксов. С одной стороны, миграционные процессы определяют в качестве устойчивой тенденции качественное изменение этносоциальной среды. Пилотажные исследования этнодемографической структуры населения показывают, что регион еще не вышел из состояния демографического кризиса и процесс этого «выхода» будет достаточно болезненным, т.к. будет определяться не столько простым воспроизводством населения, сколько миграцией со всеми сопутствующими социальными процессами, включая всплески ксенофобии и национализма. Трудовые мигранты из стран СНГ уже сталкиваются в Сибири с комплексом социальных проблем, определяемых коррупцией органов власти и ограниченными возможностями бесконфликтной адаптации и интеграции в городскую рыночную среду. Одновременно «вынужденные» переселенцы из числа русских «национальных окраин» распавшегося СССР, потерявшие собственность, как и участники «мирного урегулирования» в «горячих точках» (включая членов их семей), являются устойчивыми носителями «русского национализма». В среде сибирской молодежи уже отмечались проявления как идей скинхедов, так и русофобии. В целом сейчас трудно удивить постоянно проявляющимися на бытовом уровне взаимообусловленными националистическими установками отдельных представителей как «титульного» большинства, так и «национальных меньшинств». Насколько это явление определяется изменением этноконфессиональной ситуации, сказать трудно, эта взаимосвязь вообще не исследована.

С другой стороны, нельзя сказать, что фиксируемое изменение этносоциальной ситуации является объектом внимания региональных органов власти. Социального заказа на организацию этносоциального мониторинга в городской среде на этом уровне как не было, так и нет. Нет и четко обозначенной задачи подготовки специалистов в области прикладной и «городской» антропологии и повышения уровня компетентности представителей муниципальных органов власти как наиболее многочисленной группы чиновничества. Судя по мировому опыту, ситуация кардинально меняться не будет до тех пор, пока в городах Сибири не проявится «эффект Кондопоги», достаточно явно проявивший высокую затратность мероприятий, направленных на нейтрализацию социальных последствий «пренебрежения» латентными процессами в сфере межэтнического (межгруппового) взаимодействия.

2

На наш взгляд, не стоит акцентировать внимание на актуальности отдельных проблем при отсутствии комплексного представления о повсеместном изменении социально-экономической и этнической инфраструктуры подавляющего большинства городов РФ под воздействием реформ последних двух десятилетий. Начать фронтальное поэтапное исследование необходимо с городов с численностью населения более 500 тыс. чел., в которых необходимо сформировать временные научные коллективы из специалистов разного профиля, ориентированных на организацию этносоциального мониторинга.

Представляется, что для развития городской антропологии стоит синхронно реализовать два подхода. Первый определяется необходимостью сохранения преемственности разработок московских и петербургских специалистов в области этнической социологии и формирования на этой основе региональных школ при финансовой поддержке федерального центра. Накопленный банк данных представляет интерес не только возможностью вторичного анализа, но и его обновления за счет проведения социологических исследований в субъектах РФ по уже апробированным в 70–80-е гг. XX в. анкетам с возможной их корректировкой. На этой основе можно проследить тенденции социальной стратификации городского населения, изменения его этнической структуры, адаптационные механизмы разных социальных групп.

Стоит только отметить, что необходимо избежать стремления научных центров создать «искусственные монополии» на проведение исследований на более низком иерархическом уровне. Эти работы могут и должны проводиться местными коллективами при включении специалистов из центра, а не наоборот. В противном случае мы столкнемся с ситуацией, которая характерна для провинции при использовании материалов переписей. Речь идет о том, что в настоящее время при отсутствии доступа к первичным материалам переписей и «закрытом доступе» к материалам ЗАГС и государственных архивохранилищ резко сужается возможность качественного расширения научного инструментария исследовательских групп при повышении стоимости выборочных исследований.

Другая проблема заключается в том, что, как показывает накопленный опыт проведения этнологических экспертиз, практическое внедрение результатов НИР возможно при постоянном, а не эпизодическом взаимодействии с органами власти на муниципальном, а не на областном уровне. В противном случае материалы исследований остаются невостребованными, более того, в большинстве случаев даже непрочитанными. При первом подходе проблемы исследования не только определе-

ны, но и создадут основу для более тесной координации исследований по линии центр — субъекты РФ.

Второй подход более трудоемкий, однако, на наш взгляд, если его удастся реализовать, он более перспективный для внедрения научных разработок в повседневную политическую практику органов региональной власти. Речь идет о создании и постоянном обновлении на основе ГИС-технологий тематических систематизированных атласов городов, отражающих в динамике этнодемографическую и социальную структуру города, традиционную хозяйственную специализацию различных групп населения, степень политической активности, уровень криминализации населения и т.п. Структура комплекса определяется социальным заказом — признанием со стороны власти приоритетных направлений социальной политики и наиболее острых социальных проблем, к решению которых предполагается подключить научные коллективы. Эта исключительно трудоемкая по содержанию задача в принципе разрешима, если использовать имеющиеся ресурсы высшей школы, способной задействовать без отрыва от учебного процесса десятки тысяч студентов гуманитарных факультетов для сбора и первичного обобщения информации.

Подобный опыт уже накоплен в Сибири (Омск, Новосибирск, Кемерово, Барнаул) при организации археологических практик студентов на основе хоздоговорных проектов. Основной проблемой является поиск источников финансирования интеграционных с системой РАН проектов, направленных на формирование единой для регионов программы, разработку, согласование, утверждение методик и проблематики исследований, ориентированной на специалистов разного профиля, порядка формирования единого банка данных и режимов доступа, согласование исследовательских программ с органами власти. Не менее сложной задачей является и определение источников и механизма финансирования исследовательских групп, привлекаемых к этой работе на постоянной основе.

В случае реализации обоих подходов можно решить и одну из острейших проблем высшей школы — широко распространенную профанацию «научной значимости» студенческих проектов (курсовых, дипломных), основанных на компиляции материалов, взятых из сети Интернет. Повысится роль научных управлений университетов, в основные функции которых входит организация научного процесса, направленного и на решение существенных социальных проблем общества.

МИХАИЛ СТРОГАНОВ

1

До сих пор не определено само понятие города. Это и к сожалению, и к счастью, так как окончательное проявление какой-либо категории означает ее омертвление, опредмечивание и выпадение из живой культуры. Когда мы произносим слово *город*, то предполагаем, конечно, не столичный или столицеобразный мегаполис, а малый и (или) провинциальный город (ср. английские *town* и *city*). Представьте себе, как можно повеселиться, встретив на какой-нибудь международной конференции участника с бейджем, на котором будет написано имя его, название учреждения и далее в скобках: *г. Москва, г. Токио, г. Нью-Йорк*. А вот бейдж с указанием типа *г. Тверь* ни у кого улыбки не вызовет: это уточнение необходимо, потому что кто же обязан знать о существовании города Твери? То же самое мы пережили бы, если бы прочитали, что одним из учредителей «Антропологического форума» является не Европейский университет в Санкт-Петербурге, а Европейский университет в *г. Санкт-Петербурге*.

Употребление слова *город* для обозначения малого и (или) провинциального города не отменяет, конечно, того, что, например, к городским обрядам и городскому фольклору мы относим обряды и фольклор Петербурга и Москвы. Но само понятие города прочно закреплено за провинцией или за локальным текстом (так как мы еще, к сожалению, почти не описали локальные тексты регионов, поэтому связываем понятие локального текста только с текстом города).

Таким образом, неопределенность самого понятия города является и первым итогом, и первой проблемой в описании антропологии города, что отражено и в ряде исследований. Я назову только некоторые кандидатские диссертации и хочу посоветовать, что ни одна из них — в силу нашей традиции —

не была опубликована в виде книги. Не думаю, что эти книги устроили бы каждого читателя, но самый факт их появления значительно двинул бы наше понимание города вперед. Итак: *Милюкова Е.В.* Культурное самоопределение провинции в самодельной литературе Южного Урала советского периода. М., 2006; *Клочкова Ю.В.* Образ Екатеринбурга / Свердловска в русской литературе (XVIII — середина XX в.). Екатеринбург, 2006; *Жадовская С.А.* Литература северорусского провинциального города: текст, форма, традиция. СПб., 2009; *Юдина Т.А.* Концепт «Оренбург» в произведениях русских писателей XIX—XX вв. Самара, 2009. Не будучи опубликованы в виде книг, эти работы и сами друг друга не видят, и со стороны никто не пытается познакомить их друг с другом. Так они и остаются в неизвестности о том, что сосуществуют в одной культуре, страдая от одиночества и заставляя нас страдать от недодуманности наших представлений о городе.

Еще менее мы смогли обобщить накопленный материал разных национальных культур даже в пределах единой России (в ее разных исторических рамках). Например, существует русская поговорка, построенная по типу «N-городок — Москвы уголок». Она давно зафиксирована расхожим мнением, используется в литературе и кодифицирована словарями. «Уголками Москвы» называют себя Тула, Ярославль, Тверь, Елец, Шенкурск, Погорелец, Кашин, Харьков, Коломна, Пенза. Реже в роли города-патрона выступает Петербург, «уголками» которого признают себя Пинега, Тверь, Чита. Среди еврейского населения южно-украинских местечек (штетлов) Тульчина, Балты и Могилева-Подольского существует традиция называть свои родные места «второй Одессой» или «маленькой Одессой» [Штетл 2008: 207–209, 265].

Однако известно, что в художественных текстах провинциальные города часто называются условными обозначениями типа город Эн, Чухлома, некоторыми подобиями «местоимений» [Белюсов 2004]. Всё это местоименные обозначения некоего усредненного образа провинции. Но оказывается, что это не собственно русское, а межнациональное явление, и поэтому оценка его должна измениться. Надо систематизировать и еще раз систематизировать, чтобы приращение фактов давало возможность видеть предмет изучения широко и объемно.

Исходя из актуальной для нашей культуры оппозиции (провинциального, малого) города и (столичного, столицеобразного) мегаполиса следует обязательно останавливаться на истории формирования социальной иерархии городов, которая зависит от множества внешних причин. Например, город То-

ропец был знаменит в древней русской истории, поскольку здесь в 1238 г. венчался великий князь Александр Ярославич (Невский). Торопец не случайно был выбран для такой акции: в те давние времена он был западной окраиной русских земель, и именно через него шла большая дорога на запад. Невеста же князя Александра — Прасковья — была дочерью полоцкого князя Брячислава, поэтому именно в Торопце, на границе с Литвой, жених и дождался своей нареченной. В XIII и первой половине XIV в. город подвергся нападениям Литвы, а в середине XIV в. вошел в состав великого княжества Литовского. Только в начале XVI в. русские войска отвоевали его. Но в «смутное время» вокруг Торопца вновь начались военные действия: город переходил из рук в руки, около него велись сражения, он подвергался осаде. Но при расширении русских границ на запад Торопец оказался в безопасном положении: никто уже не вторглся и не грабил его. Только пожары становились вехами его истории (1634, 1683, 1758, 1792 и 1808 гг.). С XVIII в. город входил в состав Псковской губернии (области): от Пскова до Торопца более двухсот верст. Но с 1957 г. Торопец входит в состав Калининской (Тверской) области, и до областного центра теперь еще дальше — около трехсот пятидесяти километров. Эта удаленность от административных центров развила в торопчанах независимость и самостоятельность, так сказать, «национальную гордость», которой могут позавидовать жители любого мегаполиса. Торопец был городом торговым, и торопчане в XVII и начале XVIII в. торговали во многих городах Европы и даже в азиатской Кяхте. Но с отдалением границ город отдалился и от торговых путей, торговля затихла. Если в самом начале XIX в. в городе жила 431 купеческая семья, то в 1836 г. их осталось только 76.

Другой пример — ныне районный центр Торжок, который очень долго соревновался с Тверью. Тверь изначально была княжеским столичным городом, а Торжок — всего лишь пригородом. Но Тверь была молодым городом, а Торжок — пригородом самого Великого Новгорода. В процессе централизации древней Руси эта соревновательность затухала, отношения Твери и Торжка выравнивались перед лицом общего врага в лице столичной, самодержавной и жестокой Москвы. При первых же Романовых административное членение России оказалось столь запутанным, что возможность разобраться в иерархии городов отсутствовала. Например, иностранные путешественники по Руси XVII в. систематически уравнивают Тверь и Торжок: «Тверь несколько больше Торжка» (А. Олеарий, 1630-е гг.); «Тверь немного больше Торжка» (Я. Стрейс, 1668, 1675 гг.); «Тверь, городок, похожий на <Торжок>»

(Н. Витсен, 1665 г.). Поэтому не удивительно, что общегородская пошлина в государственную казну с Торжка и Твери была одинаковой, и, по донесению Д. Флетчера английской королеве Елизавете, «платит каждый город тяглом и податью <...> Торжок и Тверь <по> 8000 руб.». Значит, разницы фактически не было никакой.

До екатерининского времени ситуация практически не изменялась. И хотя Екатерина II начала регулярное устройство сначала наместничеств, а потом и губерний, и при ней сохранялась комическая путаница в бытовом сознании, которая совершенно непонятна современному человеку. Например, в комедии Я.Б. Княжнина «Хвастун» (1786) не имеющий никакого состояния дворянин Верхолет хочет жениться на дочери дворянки Чванкиной, поэтому хвастает перед ней своим мнимым богатством, в чем ему помогает слуга Полист:

«Верхолет

Столичное село как будто городок...

Какой бы, например?..

Полист

(Чванкиной)

Вы знаете ль Торжок?

Чванкина

Чрез этот город я нередко проезжала.

Полист

А Тверь, сударыня?

Чванкина

И тамо я бывала.

Полист

Сложите ж вместе вы в уме Торжок и Тверь —

Вот графское село, вы видите ль теперь?»

Уверовавшая в это Чванкина радостно объявляет окружающим о богатстве своего будущего зятя: «И графское село — Торжок да Тверь и с лишком». А когда обман открылся, она восклицает в горести: «Где графство делося? Село с Торжок и с Тверь?» И Торжок прочно стоит на первом месте, а Тверь лишь присоединяется к нему. На самом же деле Тверь в это время была уже губернским городом, а Торжок уездным.

Для этой путаницы можно подыскать разные, иногда достаточно убедительные основания. Можно, например, предположить транспортные причины. Для проезжающих из Моск-

вы в Петербург именно Торжок становился местом первой ночевки, а для проезжающих из Петербурга в Москву Торжок становился местом второй ночевки. И все путешествующие в любом случае миновали Тверь. Если они не задавались целью изучить достопримечательности Твери, они могли просто не заметить ее. Торжок же поневоле приходилось рассматривать.

Место Твери и Торжка в современной иерархии городов является результатом по преимуществу не естественного живого процесса, а административного и насильственного решения центра. Лишь в одном случае новоторы (самоназвание жителей Торжка) проявили собственную инициативу и просчитались. Планировалось, что Николаевская железная дорога пройдет через Торжок, но купцы, доверяя старому дедовскому способу переправы товара по воде, упростили императора миновать Торжок. Император решил не спорить с дураками, как он назвал новоторов, Николаевская железная дорога прошла по более прямой линии, а не через Торжок, и торговля в городе затихла.

Итак, история социальной иерархии городов — вот на чем сейчас следовало бы сосредоточиться. И это не собственно историческая проблематика. История социальной иерархии городов актуальна для исследователей культурного сознания в целом.

Но, говоря об этой социальной иерархии, нельзя останавливаться только на историческом факторе, нужно учитывать и фактор географический. Близость или удаленность города от столицы принципиально сказывается на статусе города. Тверь — это хотя и областной центр, но только пригород Москвы. А вот Самара, Саратов и уж тем более Тюмень имеют другой статус. Точно так же (но на других основаниях) малые (районные) города Русского Севера на Архангелогородчине существенно отличаются от малых (районных) городов Тверской области. Социально-бытовые условия в городах Русского Севера могут при ближайшем рассмотрении оказаться хуже, чем в том же Торжке. Но культурно они будут, несомненно, более независимыми и продуктивными.

2

Итак (повторю), до сих пор не определено само понятие города. В бытовом употреблении, а вслед за ним и в научной практике речь всегда идет о городе в том значении этого слова, которое сформировалось самым последним. Следует, однако, учитывать, что первоначальное значение слова *город* — ‘огороженное и, следовательно, защищенное место обитания лю-

дей' — выдвигало на первый план характер и тип сооружений; но такое значение давно устарело, а вслед за этим устарел и такой подход к проблеме города. Следующее значение слова *город* — 'особым образом организованное место жительства людей' — акцентировало особенности построения жизни; но и оно устарело, а вслед за ним и связанная с ним методология.

Для современного человека *город* — это 'совокупность людей, его население, которое живет уже в не обязательно огороженном, а то и вовсе не огороженном пространстве'. Пространство города становится все более организованным, и тенденция планомерности нарастает ко второй половине XVIII в., когда началась регулярная застройка городов. Кстати говоря, словосочетание «антропология города» лишней раз подчеркивает актуальность для современного сознания представления о городе как о населении.

Эти три сменявших друг друга значения слова *город* означают, конечно, не столько смену исследовательских стратегий, сколько смену трех этапов в развитии города как такового. Приведу еще раз пример про город Торжок, который пережил в своей истории все три этапа. Был он и пригородом — огороженной сторожевой заставой Великого Новгорода. Был он и особым образом организованным пространством, которое при Екатерине Великой стало регулярным. И хотя он всегда был также и населением, но это значение было долгое время не актуальным, каковым остается и поныне. Ведь пришедшая из советских времен доска почета «Лучшие люди города» только подчеркивает это: *лучшие* значит не 'все', не 'совокупность'.

В этом отношении весьма актуализируется проблема репрезентации зримого облика города. Наиболее адекватно зримый облик города представляют, конечно, визуальные искусства: фотография, живопись, графика, кинематограф (игровой и документальный). Но изучены в этом отношении, как кажется, только словесные искусства: записки путешественников, описательные стихотворения и поэмы (см., в частности: [Литягин, Тарабукина 2001]). И уж тем более не описан весь этот материал поверх номенклатурно признанных специальностей. Сейчас, конечно, не дело заниматься этим специально, я просто приведу один пример, опираясь на материал фотографий.

Дело в том, что в последнее время по всей России переиздаются видовые фотографии русских городов конца XIX — начала XX в., часто даже в виде каталогов. В Тверской области изданы

такие коллекции, посвященные Корчеве, Красному Холму, Калязину, Кимрам, Весьегонску, Зубцову, Старице, Бежецку, Ржеву, селу Каменному (Кувшинову), Осташкову, Кашину и Торжку. Специально перечисляю все уже опубликованные коллекции, чтобы показать, что основание для обобщений есть.

Репертуар видовых фотографий невелик и предопределен значимыми местами. Как давно заметили исследователи словесных описаний русского города, число визуально значимых мест в нем было ограничено: вокзал, городской сад (бульвар), собор, каланча, базарная (торговая) площадь, театр [Клубкова, Клубков 2000]. И без специальных сопоставлений можно предсказать, что весь этот набор мы найдем на фотографиях всех уездных городов. Но совершенно очевидно, что в глаза любому человеку (в том числе и исследователю) бросается в первую очередь сходство культурно далеких объектов. Ведь все китайцы или японцы для европейцев на одно лицо, и точно так же для китайцев или японцев все европейцы на одно лицо. Однако при более близком знакомстве европейцы оказываются в состоянии различить китайцев, а они — со своей стороны — европейцев. И вместе с тем европеец всегда стремится видеть в китайце китайца, а китаец в европейце — европейца. Этот подход к антропологии города, основанный на педалировании общности и однообразия, уже достаточно хорошо разработан в рамках современного провинциаловедения.

Итак, стандартизированная репрезентация провинциального (уездного) города очевидна. Но наша задача состоит вовсе не в том, чтобы в очередной раз умилиться примитивизму провинциального сознания или посмеяться над простотой провинциальной жизни. Задача изучения зрительного образа города состоит в реализации двух других методик, противопоставленных провинциаловедению с разных точек зрения.

Первая методика связана с понятием локального текста. Это модное слово связывают теперь с работами В.В. Абашеева, однако понятие локального текста — это просто обобщение понятия петербургского текста и распространение методики его анализа на все пространство вообще. Локальный текст предполагает актуализацию частности и разнообразия (см. замечательные и дополняющие друг друга статьи: [Клубкова 2001; Клубков 2001]). Однако следует признать, что построение локальных текстов является обычно результатом мифологизирующей деятельности самого исследователя, и поэтому доверять ему как научному дискурсу, допускающему процедуры верификации, можно только с большой оглядкой.

Об опасностях, которые таит в себе локальный текст, см. в моих работах «Две заметки о локальных текстах» [Строганов 2004] и «Литературное краеведение» [Строганов 2009: 30–41]. Описывая зрительный облик города с позиций локального текста, мы невольно находим отклонения от той общей схемы, которую формирует провинциальный текст. В частности, на фотографиях старого Торжка мы помимо типовых мест увидим ряд индивидуализирующих достопримечательностей. Во-первых, доминирующее положение в городе занимает монастырь (хотя в городе два монастыря, преобладающее количество фотографий посвящено Борисоглебскому мужскому монастырю). Во-вторых, очень часто встречается на фотографиях училище, причем не мужское, а женское, поскольку оно находилось в исторически значимом месте — бывшем путевом императорском дворце. Кроме того, особое место среди фотографий Торжка занимают общие планы, виды с высоты «птичьего полета». Продолжая наше сопоставление китайцев и европейцев, мы можем сформулировать задачу изучения города с позиций локального текста следующим образом: приглядевшись, европейцы в китайце, а китайцы в европейце должны увидеть человека.

Однако на видовых открытках городов мы практически никогда не видим человека, а если и видим людей, то они всегда изображены как толпа. Впрочем, такова цель видовой открытки: показать место, а не персону. Поэтому если мы хотим найти формы воплощения человека в видовом изображении города, то мы должны обратить внимание не на человека как объект изображения, но на человека как субъекта, который фотографирует город. Только фотограф и его точка зрения и может быть предметом изучения антропологии города на этом материале.

Здесь возможны две позиции. Во-первых, следует обратить внимание на серии открыток, сделанных по фотографиям одного и того же фотографа. Тут мы увидим город этого человека. Во-вторых, мы должны обратить внимание на изображения одного города разными мастерами. И тут очень легко обнаружить различие подходов разных мастеров-фотографов к одному и тому же объекту. Скажем иначе. Когда мы сравниваем, как фотографируют Торжок В.Н. Соловьев и П.Ф. Добрынин, мы обнаруживаем, они создают свои локальные тексты. Один создает в своих фотографиях город-сад, а другой — трущобу. У каждого фотографа есть свой подход к одному и тому же месту или зданию. Кроме того, одно и то же здание или место раскрывает у каждого фотографа свои неповторимые черты. Пожарная каланча есть везде. Но как кто увидит ее?

Мы знаем, как часто воспроизводили фотографии новоторжский городской бульвар и как по-разному они делали это. И дело не только в технических и профессиональных возможностях того или иного фотографа, дело в первую очередь в том, что каждый человек отличается от другого. Кстати говоря, аналогичную работу можно провести при сопоставлении современных фотографий Торжка, и поле здесь открывается обширное, поскольку различных фотоальбомов Торжка в последние годы издано немало.

Перенеся наш разговор в сферу словесности, мы должны поставить тот же вопрос. Мы можем брать любой материал: записки иностранцев, путешествовавших в XVI–XVII вв. между Новгородом и Москвой и посещавших Торжок, стихотворные описания Торжка типа известной поэмы А.М. Бакунина, путевые записки, мемуары XIX–XX вв., стихотворные произведения наших современников. Понятно, что локальный текст остается неизменным, но он приобретает в каждом случае особые оттенки, принадлежащие только данному автору и отличающие его локальный текст от других.

Я вовсе не призываю изучать каждое произведение местных поэтов или художников. Но я предлагаю увидеть их точку зрения, без оценки которой не поймешь и то, что они описывают. Именно эту проблему в исследовании города и городской культуры я считаю наиболее актуальной в настоящее время и еще совершенно не освоенной. И именно она — при всей своей очевидности — совершенно не разработана методологически.

Библиография

- Белоусов А.Ф.* Символика захолустья (обозначение российского провинциального города) // Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 457–482.
- Клубков П.А.* «Замками славен Тверь, а Новгород сыртями...» // Провинция как реальность и объект осмысления. Тверь: Тверской ун-т, 2001. С. 47–52.
- Клубкова Т.В.* Перифрастические названия городов и локальный текст // Провинция как реальность и объект осмысления. Тверь: Тверской ун-т, 2001. С. 26–29.
- Клубкова Т.В., Клубков П.А.* Провинциализмы и провинциальный словарь // Русская провинция: миф — текст — реальность. М.: СПб.: Тема, 2000. С. 137–155.
- Литягин А.А., Тарабукина А.В.* Зрительный образ маленького города // Провинция как реальность и объект осмысления. Тверь: Тверской ун-т, 2001. С. 53–62.

- Строганов М.* Две заметки о локальных текстах // Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 483–496.
- Строганов М.* Литературное краеведение: Учеб. пос. Тверь: Тверской ун-т, 2009.
- Штетл, XXI век: Полевые исследования. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2008.

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Самый первый «Форум», опубликованный в этом журнале, определил поворот к изучению городской культуры как важное новое направление в российской науке. Во всем мире «городские исследования» (urban studies) в последние 20–30 лет становятся все более заметной и поистине междисциплинарной областью науки. Наряду с антропологами, социологами и историками среди тех, кто сделал существенный вклад в создание новых парадигм в этой сфере, можно назвать географов, в частности географов «культурного» направления, таких как Эдвард Сойя, Дорин Месси, Линда МакДауэлл и другие¹, — точно так же, как и в «крестьянских исследованиях» (peasant studies), которые в некоторых отношениях полярно противопоставлены городским². Изучение города междисциплинарно не только потому,

¹ [Soja1996], а также [Soja 2000; Massey 2007; McDowell 1999]. Среди других влиятельных работ: [Anderson 1991] и [Mitchell 2003]. Полезная подборка недавних антропологических исследований в этой области представлена в: [Low, Lawrence-Zúñiga 2003].

² Как отмечает в своем комментарии Бенджамин Коуп, это может привести к некоторому «городскому триумфаторству» в изучении города.

что затрагивает разные сферы деятельности, но и потому, что само это поле требует гибкости от своих исследователей. Слова Бенджамина Коупа — «Именно растущий интерес к постсоциалистическим городским пространствам стал причиной того, что я утратил безопасную дисциплинарную опору» — встретят отклик у многих, кто работает в этой области.

В задачи этих кратких итоговых заметок не входит подробный обзор многогранных исследований городской культуры (текст Моника Рютерс дает картину эволюции и современного состояния изучения города в истории и социологии, а Мария Ахметова, Михаил Алексеевский и Михаил Лурье сделали обзор антропологических и фольклористических работ по этой теме, опубликованных по-русски). Вместо этого мы скажем несколько слов о характере состоявшейся дискуссии.

Начнем с того, что, как выяснилось, определить сам предмет городских исследований не так просто. Как отмечает Михаил Строганов, само слово «город» в разных условиях используется по-разному: «Когда мы произносим слово *город*, то предполагаем, конечно, не столичный или столицеобразный мегаполис, а малый и (или) провинциальный город (ср. английские *town* и *city*). Представьте себе, как можно повеселиться, встретив на какой-нибудь международной конференции участника с бейджем, на котором будет написано его имя, название учреждения и далее в скобках: *г. Москва, г. Токио, г. Нью-Йорк*. А вот бейдж с указанием типа *г. Тверь* ни у кого улыбки не вызовет».

На практике ‘urban’ в ‘urban studies’ обычно связывается с элементом ‘city’ в оппозиции ‘city / town’¹. Некоторые из наиболее интересных исследований в России сделаны, напротив, на материале маленьких городов (*small towns*) (см., напр.: [Глубинная Россия 2003]), о чем тоже свидетельствуют некоторые комментарии. (Возможно, это влияние наследия российских городских исследований, доставшегося им, особенно в фольклористике, от исследований в сельской местности, — об этом говорит Михаил Алексеевский, Мария Ахметова и Михаил Лурье.) Иногда такой микрофокус встречается и за пределами России

¹ В британском английском ‘city’ традиционно означает городское поселение, где есть кафедральный собор — ср. русская оппозиция «село / деревня». Это никак не связано с размером: население ‘city’ Или, где есть собор с кафедрой епископа — 14 500 жителей, когда как в ‘town’ Бейзингсток живут более 80 000 чел. Впрочем, это традиционное значение уже по меньшей мере столетие не оказывает никакого влияния на правовую практику: Лестер, например, стал ‘city’ в 1919 г., но епископскую кафедру получил только в 1927 г. Для большинства носителей английского языка ‘city’ значит то же, что и *Grossstadt, grande ville* или «большой город» (ср. железнодорожный термин ‘intercity’ («междугородный»). В то же время, как отмечает Ирина Разумова, практики употребления таких наименований более сложны, как, например, в случае с презрительным выражением «большая деревня» (или такими пренебрежительными названиями Лондона, как ‘the big wen’ («исполинский нарост») или ‘the big smoke’ («большой дым», «дымила»)).

(как в работе Майкла Херцфельда о городке Ретимно на Крите)¹, но основное внимание сосредоточено на крупных городах, прежде всего мегаполисах.

Внимание к устройству власти и политической жизни и вторжению внешнего капитала, характерное для ‘urban studies’ (как явствует из замечаний Меган Диксон о «Балтийской жемчужине»), а также к социальным противоречиям (см. реплику Хизер Де Хаан) поучительно было бы сопоставить со списком тем для исследования Ирины Разумовой: «Стратификация и символизация социального пространства, формирование городской среды и функционирование отдельных ее элементов, этнокультурные коммуникации, отдельный город как текст, образы городов в культуре, городская ритуально-праздничная культура в различные исторические периоды, субкультурная стратификация и особенности субкультур, современный городской фольклор»².

Когда речь идет об изучении субкультур или микросообществ (таких, как молодежные группировки, которыми занимается Дмитрий Громов, и др.), эта разница в предметах исследования оказывается менее значима. Но тот факт, что британская, французская, немецкая и американская традиции рассматривают города как большие сложные социально-политические и экономические структуры (а не пространства для игр с текстами и коммуникативных обменов), указывает на тесную связь ‘urban studies’ с более широкой проблематикой процессов модернизации, как бы ни понималась последняя — как полностью прогрессивное явление (как у многих теоретиков первой трети XX в.), как нечто достойное сожаления или как среднее между первым и вторым³. В эпоху повсеместного краха «больших нарративов» большой нарратив модернизации стал настолько вездесущим, что его воздействие редко замечают.

Как полагают некоторые участники дискуссии, в частности Александр Садовой, в российской науке изучение городских поселений довольно строго разграничено дисциплинарными

¹ См., напр.: [Herzfeld 1991]. Другая линия представлена в работе Аны Кладник о словенском новом городе Веленье (вкратце с ней можно познакомиться на портале «New Towns», <http://www.newtowns.net/whats-new-1/whats-new/view?set_language=pt>).

² Думается, что избежание «злободневных» тем может отчасти объясниться позднесоветской и постсоветской реакцией против навязанного марксизма-ленинизма советского времени, делавшего акцент как раз на «конфликтах» и «переломах». В России с начала века вплоть до середины 1930-х гг., как явствует из ответов Натальи Петрофф, ситуация была иная — тогда открыто обсуждались «язывы города», например специфика психологии «городского ребенка».

³ Наиболее дистанцированные наблюдатели исторических изменений — это психогеографы, которые особое внимание уделяют «глубинным структурам» (deep structures) локальной специфики, якобы превышающим всякие временные границы, см., напр.: [Sinclair 2003a; 2003b; Ackroyd 2001 (русский перевод: [Акройд 2005]); Attlee 2008].

рамками, а также изолировано и в другом отношении: «Этнографы при исследовании этнокультурных процессов по заданым таксонам, как правило, не затрагивают внешних факторов воздействия (детерминант), определяемых глобализацией». Сосредоточение на отдельных городах и их аномалиях способно породить дискуссии местечковые в самом прямом смысле этого слова (как в случае с исследованиями Санкт-Петербурга, которые повествуют о доходных домах так, словно *tenements*, *maisons à louer* и *Mietskasernen* Глазго, Нью-Йорка, Парижа или Берлина никогда не существовали, ср. наблюдение Ахметовой, Алексеевского и Лурье: «Явственно ощущается отсутствие сравнительно-типологических исследований»).

Отсутствие общемирового контекста заметно и в другом: на постсоветском пространстве сравнительно мало внимания уделяется этнической разнородности городского мира. Замечание Роберта Пайра о Львове («Мультикультурализм был отнесен исключительно в область прошлого») довольно хорошо описывает и ситуацию, например, в Санкт-Петербурге¹.

Усвоение такого внутренне ориентированного взгляда может быть одним из факторов, определивших ситуацию, которую описывает Анатолий Бреславский: «Отечественная городская история в том виде, в котором она существует сегодня, зачастую оказывается востребованной лишь на уровне самих городов и местных академических школ; эта история вызывает интерес преимущественно у муниципальной власти, действующей от имени городского сообщества». В то же время попытки навязать «глобальные» представления о ходе истории могут привести к чрезмерно упрощающим выводам, как подчеркивает Наталья Космарская, указывая на важность смены политического режима — «не имеющих аналога на Западе мощных трансформаций “бытия” и “сознания”, вызванных распадом СССР» — и процессов миграции из сельской местности в города как очень специфичных факторов российского и постсоветского опыта². Запоздалый, но динамичный процесс автомоби-

¹ Большинство исследований многоэтничного Петербурга посвящены истории города: см., напр., [Юхнёва 1982; Юхнёва 1984; Смирнова 2002; Многонациональный Петербург 2002]. Гораздо сложнее отыскать серьезные исследования современного Петербурга как многоэтничного города, а многие существующие часто сосредоточены на иммиграции (понимаемой как прибытие «чужеземцев» в среду, которая рассматривается как изначально моноэтничная). Интересно, что в поздний советский период многокультурности уделялось несколько больше внимания: см. в частности [Старовойтова 1987].

² Насчет последнего можно усомниться: сельская иммиграция является очень важным фактором, например, в Греции, Португалии и Ирландии; и не надо забывать, что иммиграция групп, которые маркируются местной культурой как прежде всего этнические «другие», тоже может представлять собой движение из деревни в город (как в случае с ирландскими или бангладешскими мигрантами в Лондоне).

лизации — тема, к которой обращается Дьордь Петери, — еще одна в высшей степени характерная черта социалистического города по всей Восточной Европе¹.

Но есть и существенные разрывы с прошлым. Крах социалистического интернационализма (который чаще связывается с ростом примордиального национализма) повлек за собой регионализацию не только в политическом смысле, но и в смысле увеличения роли региональных или, скорее, локальных различий (ср. устоявшийся термин «локальный текст»). Этот процесс специализации не обязательно ведет к «местечковому патриотизму» (boosterism); за последние несколько лет появились и достаточно тонко выполненные репрезентации локальной истории, которые предлагают отчетливо дистанцированный взгляд на местную мифологию и местный канон прошлого².

Как бы то ни было, под влиянием перемен понимание «модернизации» сейчас вышло далеко за пределы тех явлений, которые изучала социология начала XX в. Так, «городской фольклор» (как отмечает Михаил Матлин) был трансформирован Интернетом, который функционирует как хранилище и лаборатория для различных его продуктов. В результате такие традиционные аналитические категории, как «фольклоризация», оказываются под вопросом. Агломераты типа Пекина, Гонконга, Дели или Мехико, с бесконечно расширяющимися окраинами и трудно локализуемыми центрами, не обладают символической топографией классического европейского, азиатского или американского города, которую образуют культовые сооружения и места собраний городского самоуправления, а позднее — транспортные узлы, торговые центры и места для развлечений (кинотеатры, кафе). Сейчас фактором, определяющим структурную организацию пространства, может становиться строительный бум («одна из самых больших строительных площадок в мире — здесь может вырасти самая большая в мире городская агломерация» [Miller 2009: 271]), а также намеренно беспорядочное зонирование (окруженные заборами поместья рядом с лачугами)³.

¹ [Siegelbaum 2008] — об автомобилизации в СССР.

² Как, например, в ответах Владимира Абашева на вопросы этого «Форума», или в работе Михаила Лурье и Марии Ахметовой о Бологом, или в исследованиях Барнаула Сергея Ушакина. Ср. также замечания А.Н. Садового в «Форуме» о недавних работах, посвященных Томску, Новосибирску, Барнаулу и Омску.

³ Как указывает, среди прочих, Владимир Поддубиков, «зонирование» в постсоциалистических городах, в отличие от американских, редко имеет этническую окраску, хотя это верно и для многих европейских и азиатских городов.

И все же даже новые мегаполисы в истинном смысле этого слова¹ обладают более четкой организацией, чем территории, заполненные пластиковыми рядами закусочных и сетевых магазинов, для обозначения которых с 1960-х употребляется словосочетание ‘non-place urban realm’². Однако в постсоциалистических городах, как и в других европейских поселениях (в отличие от, например, США), такие места обычно возникают в лакунах более традиционных структур. По сравнению с этим новым типом застройки социалистические города начала и середины XX в. представляли не отступление, а продолжение стандартных «западных» образцов устройства городского пространства. В сфере градостроительства государственное планирование, характерное для социалистических обществ, было не отклонением, а нормой по сравнению с капиталистической Европой и США. В то же время можно только гадать, что происходит с пространственными иерархиями во многих моногородах, оставшихся Российской Федерации в наследство от советской эпохи, сейчас, когда заводы закрылись, а памятники Ленину и дворцы культуры лишились символической значимости. Как сказала Ирина Разумова, «в городском пространстве заметны развалины зданий и архитектурных сооружений сталинского и последующих периодов, пришедшие в запустение целые городские районы, бывшие места массовой рекреации и т.д. Эти памятники культуры достойны масштабных исследований, в том числе методами визуальной антропологии. Например, в городе Кировске таким является “25-й километр” — в относительно недавнем прошлом благополучный рабочий район, который сейчас фактически лежит в руинах, хотя и продолжает функционировать. Фрагменты разрушающегося ландшафта достойны музеефикации не менее, чем известные “этнографические деревни”».

В некоторых поселениях традиционное понимание надлежащего планирования (градостроительства) может возрождаться в устройстве новых культовых мест, но это достижение еще не распространилось повсеместно. В целом, по выражению Бенджамина Коупа, постсоциалистические города идут по пути от «совершенно негодного городского планирования до дефицита толкового управления пространством».

¹ Из российских городов только Москву можно с полным правом рассматривать как «мегаполис» в мировом контексте (для сравнения, население Дели составляет около 15 млн, Мехико — около 20 млн, Шанхая — более 16 млн, Пекина — более 17 млн, Каира — 17 млн и т.д.).

² *Non-place urban realm* буквально переводится как «городское пространство, где не существует “место”». Это выражение ввел американский географ Мелвин Вебер в статье 1964 г. «The Urban Place and the Non-Place Urban Realm». Оно связано с концепцией города будущего, где развитие телекоммуникаций и распространение автомобилей приведет к тому, что локальные сообщества станут менее важны, чем объединенные общими интересами (например, профессиональными). Благодаря возможности дистанционного общения и быстрых перемещений в таком городе связь человека с определенным географическим местом утратит значение (Прим. пер.)

Таким образом, подобно городам-гигантам так называемого «развивающегося мира», городские поселения бывших социалистических стран ставят под сомнение привычные ритмы «прихода к современности». С одной стороны, инвестиции в города извне, такие как проект «Балтийская жемчужина», о котором говорит Меган Диксон, создают ситуацию, когда развитие «оказывается во власти того “глобального” гибридного видения, которое стремится подчинить себе разнообразие городской повседневности». С другой стороны, упрямое чувство места, которое лишь отчасти передается несколько избитым термином *глокализация*, не сдает позиции. Одна из обсуждаемых здесь проблем заключается именно в том, как распознать и зафиксировать его.

Поднимая такие фундаментальные вопросы концептуальных представлений, участники дискуссии выходят за рамки тенденции видеть суть изучения города в исследовании его объектов, которая сводит «городские исследования» к сумме работ о городах¹. В то же время они утверждают, что изучение городов должно быть чем-то большим, чем просто исследование локальных событий, персоналий или сообществ, субкультур и групп. Всепоглощающее увлечение ими может вести к тому, что, выражаясь словами Стивена Биттнера, «как основной предмет анализа города нередко странным образом выпадают из городской истории» (и, несомненно, городских исследований вообще). Биттнер, привлекая внимание к индивидуальному опыту тех, кто недавно приехал в город, и индивидуальной природе городского ландшафта, который воздействует на них, предлагает смысловую основу для возвращения города в городские исследования.

Но не может ли акцент на «индивидуализации» (особенно обитателей городов) оказаться всего лишь способом снова вернуться к надежным и безопасным рамкам теории модернизации? Или напротив, внимание к коммуникативным сетям, сообществам и общим мифам не свидетельствует ли о до сих пор

¹ Пример такого подхода можно найти в полезной и информативной обзорной статье Теодора Вика [Weeks 2009] о недавних исследованиях городов Восточной Европы. Базовая концептуальная установка ее автора заключается в том, что города — это «поливалентные сущности» (polyvalent entities), что делает какие-либо обобщения в их исследовании в принципе невозможными. В 2009 г. в выпуске журнала «Вопросы истории» (№ 1. С. 65–80), посвященном теме «Российская история: новые рубежи и пространство диалога», появились две статьи под рубрикой «Город и урбанизация в российской истории», но обсуждения вопросов, связанных с этой темой, в журнале не было. Более обстоятельный обзор проблематики дан в предисловии к [Культуры городов 2009: 8]: «Современный город рассматривается как место, в котором социальные ценности и идентификации преобразуются, город изучается как носитель и одновременно символ национальной идентичности, город исследуется как “имперское пространство”, в котором различные формы культурной идентичности пересекаются и вступают в конфликт; наконец, ставится вопрос о городе как месте международных, даже глобальных связей».

не изученном влиянии на городские исследования функционализма середины XX в. (что, возможно, объясняет нежелание исследовать дисфункциональные явления в городской среде)? А может быть, «отсутствие» города неизбежно, как в остроумном рассказе Владимира Абашева о Перми, которая характеризуется прежде всего невидимыми местами (такими как останки гигантского парового молота), существующими в нарративе о Перми, который создает ее «неосязаемое тело»? Формируют ли пространства социальные отношения в той же (или большей) степени, что и социальные отношения формируют пространства? Участники нашей дискуссии не достигли полного согласия по этим вопросам, но это хороший показатель, так и должно быть.

Обсуждение этих базовых вопросов, а также характерных проблем городской жизни и городской идентичности продолжается в подборке статей, опубликованных в этом номере журнала. Многие из них заполняют пробелы в литературе, обозначенные участниками нашей дискуссии (в частности, потребность в большем количестве исследований городов за пределами Москвы и Петербурга, желательность обращения к городским практикам и их изменениям во времени и пространстве). Еще одна серия публикаций, посвященных важнейшей современной проблеме иммиграции в города и перемещений между ними, появится в следующем номере журнала и продолжит обсуждение городской темы.

Мы, как всегда, выражаем сердечную благодарность участникам дискуссии.

Библиография

- Акройд П.* Лондон. Биография. М.: Издательство Ольги Морозовой, 2005.
- Глубинная Россия: 2000–2002 / В.Л. Глазычев (ред.). М.: Новое издательство, 2003.
- Культуры городов Российской империи на рубеже XIX–XX веков: М-лы межд. colloquiuma, Санкт-Петербург, 14–17 июня 2004 года / Под ред. Б.И. Колоницкого и др. СПб., 2009.
- Многонациональный Петербург: История. Религия. Народы. СПб.: Искусство, 2002.
- Смирнова Т.М.* Национальность — питерские. Национальные меньшинства Петербурга и Ленинградской области в XX веке. СПб.: Сударыня, 2002.
- Старовойтова Г.В.* Этническая группа в современном советском городе: социологические исследования. Л.: Наука, 1987.
- Юхнёва Н.В.* (ред.) Старый Петербург: историко-этнографические исследования. Л.: Наука, 1982.

Юхнёва Н.В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга: вторая половина XIX — начало XX века. Л.: Наука, 1984.

Ackroyd P. London: The Biography. L.: Vintage, 2001.

Anderson K. Vancouver's Chinatown: Racial Discourse in Canada, 1875–1980. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1991.

Atlee J. Isolarion: A Different Oxford Journey. Chicago: Chicago University Press, 2008.

Herzfeld M. A Place in History: Social and Monumental Time in a Cretan Town. Princeton: Princeton University Press, 1991.

Low S.M., Lawrence-Zúñiga D. (eds.) The Anthropology of Space and Place. Oxford: Blackwell Publishing, 2003.

Massey D. World City. L.: Polity Press, 2007.

McDowell L. Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies. Oxford: University of Minnesota Press, 1999.

Miller S. Delhi: Adventures in a Megacity. L.: Jonathan Cape, 2009.

Mitchell D. The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space. N.Y.: The Guilford Press, 2003.

Soja E.W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and other Real-and-Imagined Places. Oxford: Wiley-Blackwell, 1996.

Soja E.W. Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Oxford: Wiley-Blackwell, 2000.

Siegelbaum L. Cars for Comrades. Ithaca; N.Y.: Cornell University Press, 2008.

Sinclair I. London Orbital. L.: Penguin Books Ltd, 2003.

Sinclair I. Lights Out for the Territory. L.: Penguin Books Ltd, 1998.

Weeks Th. Urban History in Eastern Europe // *Kritika*. 2009. Vol. 10. № 4. P. 917–934.

Катриона Келли

Перевод с англ. Александры Касаткиной